

Виктор Франкл

Человек в поисках смысла

От переводчика

Познакомившись с биографией Виктора Франкла и с этой книгой, я не могла сдержать желания тут же перевести ее и познакомить с ней моих друзей. И уже заканчивая перевод, я узнала, что в России недавно издана эта книга на русском языке. Тем не менее я решила закончить работу, которую и предлагаю вам, любезные мои читатели.

Так как все это не для печати, я позволила себе не соблюсти некоторые строгие правила - в частности, тут нет библиографии. А замеченные вами дилетантские огрехи вы, надеюсь, мне простите.

Рита Маркус.

Часть первая

ЖИЗНЬ В КОНЦЕНТРАЦИОННОМ ЛАГЕРЕ

Эта книга не стремится быть отчетом о событиях и фактах, а лишь рассказать о личном опыте и переживаниях - каждодневном мучительном существовании миллионов заключенных. Это голос изнутри концлагеря, как определил ее один из выживших. Здесь не говорится о тех великих ужасах, которые уже достаточно хорошо описаны (хотя им не так уж часто верят), а скорее о множестве малых издевательств. Другими словами, книга пытается объяснить, какова была будничная жизнь концлагеря и как она отражалась в душе обычного заключенного.

Большая часть описанных здесь событий происходила не в больших и известных лагерях, а в мелких, где и происходило в основном реальное уничтожение людей. Это повесть не о страданиях и смерти великих героев и мучеников, не о известных "капо" - тех заключенных, которые стали доверенными лицами руководства лагеря и имели особые привилегии, и не о судьбе известных заключенных. Она посвящена мучениям и гибели огромной армии безвестных и нигде не зарегистрированных жертв. Именно этих безвестных узников, без всяких отличительных знаков на рукаве, так презирали капо. В то время как обычные заключенные почти не получали еды, капо никогда не голодали; многим из капо жилось в лагере даже лучше, чем когда-нибудь в свободной жизни. Часто они более сурово обращались с заключенными, чем охрана, и избивали их более жестоко, чем эсэсовцы. Разумеется, в капо отбирали тех заключенных, которые по характеру больше всего годились для этой роли. И если они оказывались неподходящими, их немедленно подвергали разжалованию в рядовые. Капо вскоре становились неотличимы от эсэсовцев и лагерной охраны, и к ним можно подходить с той же психологической меркой.

Внешний наблюдатель скорее всего составит себе ложное представление о лагерной жизни, пронизанное сентиментальностью и жалостью. Он мало что знает

о тяжелой борьбе за существование, которая происходила среди заключенных. Это была жестокая, непрестанная битва за кусок хлеба и за саму жизнь, ради себя и ради близкого друга.

Рассмотрим пример транспортировки, которая официально считалась переводом заключенных в другой лагерь, но с очень большой вероятностью их посылали в газовую камеру. Партия больных или неработоспособных заключенных отправлялась в один из больших лагерей, оснащенных газовыми камерами и крематориями. Процесс отбора - селекция - сопровождался борьбой без правил между отдельными заключенными, или одной группы против другой. Боролись за то, чтобы собственное имя или имя близкого друга было вычеркнуто из числа жертв, хотя каждый знал, что вместо одного спасенного в список внесут другую жертву.

С каждым транспортом должно было быть отправлено определенное количество заключенных. Неважно, кто именно - ведь каждый был только лагерным номером. При поступлении в лагерь (по крайней мере так было в Освенциме) у человека отнимали все документы и все его имущество. Таким образом, каждый мог присвоить себе вымышленное имя или профессию; и по разным причинам многие это делали. Властей интересовал только номер заключенного. Эти номера обычно были вытатуированы на коже, а также пришивались на одежду. Любой охранник, который хотел вынести взыскание заключенному, просто смотрел на его номер (о, как мы боялись этих взглядов!); он никогда не спрашивал имени.

Вернемся к отправке транспорта. Не было ни времени, ни желания считаться с моралью или этикой. Каждым человеком управляла единственная мысль: сохранить свою жизнь для семьи, которая ждет его дома, и спасти своих друзей. Так что он без всяких колебаний принимал меры, чтобы другой заключенный, другой "номер" занял его место в транспорте.

Как я уже упоминал, процесс отбора капо шел по "отрицательным" свойствам: для этой должности выбирали самых жестоких заключенных (хотя попадались счастливые исключения). Но, кроме этого отбора, который производили эсэсовцы, был еще один вид самоотбора, который непрерывно происходил среди заключенных.

Обычно выживали только те заключенные, кто после долгих лет заключения и перебросок из лагеря в лагерь избавлялся от всех остатков угрызений совести в своей борьбе за существование; они были готовы воспользоваться любыми средствами, честными и нечестными, грубой силой, воровством и предательством друзей, чтобы спасти себя. Мы, уцелевшие с помощью многих счастливых случайностей, или чудес - можно называть это как угодно - знаем: лучшие из нас не вернулись.

Уже написано много отчетов, содержащих факты о концлагерях. Здесь факты будут приводиться только тогда, когда они являются частью пережитого. Именно переживания людей будут темой дальнейшего описания. Для тех, кто был в лагерях, это будет попытка объяснить им их чувства в свете науки сегодняшнего дня. А для тех, кто никогда не был в лагере, книга поможет узнать и лучше понять переживания той удручающе малой доли заключенных, которые выжили, но и на свободе жизнь их очень непростая. (Напоминаю - книга написана в 1945 г. - Р.М.) Эти бывшие узники часто говорят: "Мы не любим говорить о наших переживаниях, Тем, кто был в лагерях, не нужны объяснения,

а другие просто не смогут понять ни того, что мы чувствовали тогда, ни того, что чувствуем сейчас."

Попытка представить эту тему чрезвычайно трудна методически, так как психология требует определенной научной беспристрастности. Но человек, сам находящийся в заключении - обладает ли он необходимой беспристрастностью? Объективным может быть внешний наблюдатель, но он слишком далек от лагерной жизни, чтобы утверждать хоть что-нибудь ценное. О лагерной действительности знает только тот, кто находится внутри. Его суждения могут не быть объективными; его оценки могут быть несоразмерны. Это неизбежно. Требуется усилие, чтобы избежать любых личных предубеждений, и это достаточно трудно при написании книги такого рода. Иногда требуется мужество, чтоб рассказать об очень личных переживаниях. Я намеревался опубликовать эту книгу анонимно, подписавшись только моим лагерным номером. Но когда рукопись была окончена, я увидел, что в качестве анонимной публикации книга потеряет половину своей ценности, и что я должен набраться смелости открыто изложить свои убеждения. Поэтому я удержался от намерения убрать слишком личные эпизоды, хотя терпеть не могу экзгибиционизма.

Я предоставляю другим выпарить содержание этой книги до сухой теории. Это может быть вкладом в психологию тюремной жизни, которая начала развиваться после Первой мировой войны и познакомила нас с синдромом "болезни колючей проволоки". Мы обязаны Второй мировой войне обогащением наших знаний в области "массовой психопатологии"; эта война принесла нам войну нервов и концлагеря.

Поскольку это рассказ о моих переживаниях как обычного заключенного, важно упомянуть, и не без гордости, что я не служил в лагере как психиатр или просто как врач, за исключением последних нескольких недель. Мало кому из моих коллег повезло попасть на работу в скверно оборудованные пункты первой помощи, где они накладывали повязки из обрывков бумаги. Я был номером 119,104 и почти все время копал землю или укладывал колею железной дороги. Однажды мне было велено в одиночку прорыть тоннель под дорогой для прокладки водопровода. Этот подвиг не остался без награды: как раз перед Рождеством 1944 г. я получил подарок - так называемые "премиальные купоны". Они были выпущены строительной фирмой, которая практически покупала нас, как рабов; она платила лагерным властям твердую цену за каждый человеко-день. Купоны стоили фирме по 50 пфеннигов, и их можно было обменять на шесть сигарет каждый, часто спустя недели, хотя иногда они становились недействительными. Я стал гордым обладателем талона, стоящего 12 сигарет. Но что еще важнее, сигареты можно было обменять на 12 супов, а 12 супов были очень реальной отсрочкой голодной смерти. Выкурить сигареты на самом деле мог себе позволить только капо - они имели гарантированную еженедельную порцию купонов; или заключенный, который работал бригадиром в мастерской и получал несколько сигарет за выполнение опасной работы. Единственным исключением среди рядовых были те, кто потерял "волю к жизни" и хотел получить удовольствие от своих последних дней. Так что когда мы видели, как кто-то курит свои сигареты, то знали, что он потерял веру в свои силы. А потерянная однажды, воля к жизни редко возвращалась.

При изучении огромного количества материала, собранного в итоге наблюдений над переживаниями многих заключенных, выявляются три фазы душевной реакции на лагерную жизнь: период, сопровождающий прибытие в лагерь; период глубокого погружения в лагерную жизнь; и период, следующий за

освобождением.

Симптом, характерный для первой фазы - это шок. При некоторых обстоятельствах шок может даже предшествовать формальному попаданию в лагерь. Приведу в качестве примера обстоятельства моего собственного прибытия.

Полторы тысячи человек ехали в поезде несколько суток; в каждом вагоне было по 80 человек. Приходилось лежать на своем багаже, на жалких остатках личного имущества. Вагоны были так набиты, что только сквозь верхние части окон просачивался серый рассвет. Мы думали, что поезд едет к какому-нибудь военному заводу, где нас будут использовать как рабочую силу. Мы даже не знали, где находимся - все еще в Силезии или уже в Польше. Паровозный свисток прозвучал как-то жутко - как сочувственный крик о спасении несчастного груза, который поезд обречен везти в небытие. Затем поезд перешел на запасный путь, явно подъезжая к конечной станции. Внезапно у встревоженных пассажиров вырвался крик: "Смотрите, надпись: Освенцим!" В этот момент у каждого упало сердце. Освенцим - само это название звучало жутко: газовые камеры, крематории, массовые убийства. Медленно, почти нерешительно, поезд подъезжал к платформе, как будто хотел как можно дольше избавить своих пассажиров от ужасного осознания: Освенцим!

С наступлением рассвета выступили очертания огромного лагеря: сторожевые вышки; рыскающие лучи прожекторов; далеко протянувшиеся заборы из колючей проволоки в несколько рядов; и длинные колонны одетых в отрепья человеческих фигур, серые в сером свете раннего утра, бредущие вперед по неровным дорогам - куда, мы не знали. Изредка раздавались свистки и крики команды. Мы не понимали, что они значат. Мое воображение рисовало виселицы с болтающимися трупами. Я был в ужасе, но это было даже к лучшему, потому что шаг за шагом нам пришлось привыкать к жестоким и бесконечным ужасам.

Поезд остановились у станции. Первоначальная тишина была прервана криками команд. С тех пор все время, опять и опять, во всех лагерях нам предстояло слышать эти грубые, пронзительно резкие интонации. Они звучали почти так, как звучит последний крик жертвы, но не совсем: в них была дерущая горло хрипота, как будто голос надорван непрерывным криком человека, которого убивают снова и снова. Двери вагонов распахнулись, и внутрь вошла небольшая группа заключенных. Они были в полосатой форме, с обритыми головами, но выглядели хорошо откормленными. Они говорили на всевозможных европейских языках и даже шутили, что в тех обстоятельствах звучало дико. Как утопающий хватается за соломинку, так мой врожденный оптимизм (который часто руководил моими чувствами даже в самых безнадежных ситуациях) стал нашептывать мне такую мысль: эти заключенные выглядят очень неплохо, они как будто в хорошем настроении и даже смеются. Кто знает - может быть, и мне удастся устроиться так удачно?

В психиатрии известно определенное состояние под названием "иллюзия отсрочки". Непосредственно перед казнью осужденный впадает в иллюзию, что в самый последний момент он может быть помилован. Мы тоже ухватились за обрывки надежды и поверили, что все будет не так уж плохо. Нас ободрял сам вид красных щек и округлых физиономий. Мы не знали, что эти заключенные составляют специально отобранную элиту, которая годами была приемной командой новых транспортов, ежедневно прибывавших на станцию. Они брали на себя заботу о новоприбывших и о их багаже, особенно о дефицитных вещах и драгоценностях. Освенцим был в последние годы войны особым местом в Европе. Там скопились уникальные сокровища из золота и серебра, платины и бриллиантов, и не только в огромных складах, но и в руках эсэсовцев.

Полторы тысячи заключенных теснились в пространстве, рассчитанном самое большее на двести человек. Нам было холодно и голодно, и не было места не то что прилечь, но даже присесть на корточки. Один кусок хлеба весом в 150 г. был нашей единственной едой за четыре дня. Однако я слышал, как дежурный заключенный торговался с одним из членов приемной команды по поводу булавки для галстука из платины с бриллиантами. Большинство добычи будет вскоре продано за выпивку - шнапс. Я не могу припомнить, сколько тысяч марок требовалось для покупки необходимого для вечеринки количества шнапса. Но я знаю, что эти "старые" заключенные нуждались в спиртном. Кто в тех условиях мог их упрекнуть за то, что они стремились одурманить себя? Была еще одна категория заключенных, которая вообще получала выпивку в неограниченном количестве: это были те, кто обслуживал газовые камеры и крематории, и очень хорошо знали, что однажды их заменят другими, и из невольных палачей они превратятся в жертв.

Почти каждый из нашего транспорта питал иллюзию, что его пощадят, что все будет хорошо. Мы сперва не поняли важности наступившей сцены. Нам приказали оставить багаж в поезде и выстроиться в два ряда - женщины с одной стороны, мужчины - с другой, чтобы пройти мимо старшего офицера СС. Как ни удивительно, у меня хватило храбрости спрятать свой рюкзак под курткой. Моя шеренга проходила перед офицером, один за другим. Я понимал, как опасно, если офицер заметит мой мешок. В худшем случае, он собьет меня с ног; я знал это из предыдущего опыта. Я инстинктивно выпрямился, приближаясь к офицеру, чтоб он не заметил моего тяжелого груза. И вот я перед ним - лицом к лицу. Это был высокий человек, стройный и подтянутый в своей безупречно чистой форме. Какой контраст с нами, грязными и неряшливыми после нашего долгого путешествия! Он стоял в небрежно-высокомерной позе, поддерживая правый локоть ладонью левой руки. Правая кисть была поднята, и указательным пальцем он неторопливо указывал либо направо, либо налево. Никто из нас не имел представления о зловещем значении этого легкого мановения пальца, указывающего то направо, то - гораздо чаще - налево.

Наступила моя очередь. Кто-то шепнул мне, что посланные направо будут отправлены на работу; налево - больные и слабые - будут отправлены в особый лагерь. Я просто ждал - будь что будет; в первый раз из многих последующих случаев. Тяжесть рюкзака оттягивала меня влево, но я старался идти выпрямившись. Эсэсовец оглядел меня, как будто в сомнении, затем положил руки мне на плечи. Я изо всех сил старался казаться молодцом, он очень медленно повернул меня направо - и я двинулся в ту сторону.

Значение поворота пальца нам объяснили вечером. Это была первая селекция, первый приговор - быть или не быть. Для подавляющего большинства нашего транспорта, около 90%, это означало смерть. Их приговор был приведен в исполнение в ближайшие несколько часов. Отправленных налево прямо со станции повели в крематорий. Над дверьми этого здания висела надпись "Баня" на нескольких европейских языках (как сказал мне работавший там человек). При входе каждому вручали кусок мыла, а потом ... из милосердия я не стану описывать, что было потом. Об этом кошмаре уже достаточно написано.

Мы, уцелевшее меньшинство из нашего транспорта, узнали правду вечером. Я стал расспрашивать старожилов, куда попал мой коллега и друг Р.

"Его отправили на левую сторону?"

"Да", - ответил я.

"Тогда смотрите, он там," - сказали мне, указав на трубу за несколько сот метров от нас, из которой вырывался столб пламени в серое небо Польши, и переходил в зловещее облако дыма.

"Ваш друг там, он плывет на небо." Но я все еще не понимал, пока мне не объяснили все прямыми словами.

Но я сбился с рассказа по порядку. С точки зрения психологии перед нами был длинный, длинный путь от этого рассвета не станции до нашего первого ночного отдыха в лагере.

Окруженные эсэсовской охраной с автоматами, мы должны были бежать от станции, мимо колючей проволоки под током, через лагерь, к санитарному пункту; для тех, кто благополучно прошел первую селекцию, это была настоящая баня. Иллюзия о пощаде еще раз получила подкрепление. Эсэсовцы были почти любезны. Скоро мы поняли - почему. Они были очень милы, пока видели на у нас руках часы, и еще не уговорили отдать их. Все равно ведь потом все отберут, так почему бы не отдать часы этим сравнительно приятным людям? Может быть, это когда-нибудь сослужит нам добрую службу...

Мы ждали в сарае, который, видимо, вел в дезинфекционную камеру. Появились эсэсовцы и растянули одеяла, на которые мы должны были сбросить все наше имущество, часы и драгоценности. Среди нас все еще были наивные люди, которые спрашивали, к веселью распорядившихся там бывалых заключенных, нельзя ли оставить обручальное кольцо, медаль или талисман.

Никто еще не мог поверить до конца, что все будет отнято.

Я решил поделиться своим секретом с одним из старых заключенных. Подойдя к нему, я украдкой показал ему бумажный сверток во внутреннем кармане моей куртки и сказал: "Посмотрите, это рукопись научной книги. Я знаю, что вы скажете, - что я должен быть благодарен судьбе за спасение, и нечего просить у нее других поблажек. Но у меня нет выхода, я должен сохранить эту рукопись любой ценой; в ней итоги моей работы за всю жизнь. Вы понимаете?"

Да, он начал это понимать. На его лице появилась усмешка, сначала жалостливая, потом все более насмешливая, издевательская, оскорбительная - пока он не выплюнул всего одно слово - слово, постоянно присутствующее в словаре обитателей лагеря: "Дерьмо!" В этот момент мне стала ясна безжалостная действительность, и я сделал то, что обозначило кульминацию первой фазы моей психологической реакции: перечеркнул всю свою прежнюю жизнь. Мои бледные, испуганные попутчики продолжали безуспешно пререкаться с охраной. Внезапно все пришли в движение. Опять мы услышали хриплые выкрики команды. Ударами нас загнали в предбанник. Там нас собрали вокруг эсэсовца, поджидавшего, пока все не войдут. Он сказал: "Я даю вам две минуты и буду следить за временем по часам. За эти две минуты вы должны полностью раздеться и сбросить все на пол там, где вы стоите. Вы не возьмете с собой ничего, кроме вашей обуви, ремня или подтяжек, и, кому необходимо, грыжевого бандажа. Я засекаю время."

Люди начали лихорадочно сдирать с себя одежду. Когда время подходило к концу, они все больше нервничали и путались в одежде, поясах и шнурах ботинок. Затем мы в первый раз услышали свист кнута: кожаные плетки хлестали по голым телам.

Потом нас загнали в другую комнату, где нас побрили - и не только головы; на всем теле не оставили ни одного волоска. Дальше - в душ, где нас снова выстроили в очередь. Мы с трудом узнавали друг друга; зато мы вздохнули с большим облегчением - из душевых головок действительно шла вода.

Ожидая своей очереди в душ, мы начали осознавать свою наготу: нам не оставили ничего, кроме собственных голых тел - даже минус волосы; все, чем мы владели, было, буквально говоря, наше голое существование. Что еще оставалось у нас как материальная связь с нашей прежней жизнью? Для меня -

очки и пояс; последний я позднее обменял на кусок хлеба. У владельцев бандажей был в запасе еще один повод для волнения. Вечером старший дежурный приветствовал нас речью, в которой он дал честное слово, что повесит "на этой перекладине" - он указал на нее - каждого, кто зашил в свой бандаж деньги или драгоценности. Он гордо объяснил, что ему, как капо, законы лагеря дают это право.

Что же касается нашей обуви, все было не так просто. Хотя нам полагалось оставить ее при себе, хорошие ботинки пришлось отдать и получить взамен туфли, которые не всегда подходили. И в большую беду попали те, которые последовали якобы благожелательному совету (который дали им в предбаннике старшие заключенные) и укоротили свои сапоги, отрезав верх и смазав срез мылом, чтобы скрыть этот акт саботажа. Повидимому, эсэсовцы только этого и ждали. Всем заподозренным в этом преступлении велели зайти в соседнюю комнату. Скоро мы опять услышали свист плетки и крики избиваемых людей. Теперь это продолжалось довольно долго.

Таким образом иллюзии, остававшиеся у некоторых из нас, были развеяны одна за другой; и тогда, совершенно неожиданно, многих охватило чувство мрачного веселья. Мы поняли, что нам больше нечего терять, кроме наших так издевательски обнаженных жизней. Когда полилась вода, мы начали смеяться и над собой, и друг над другом. В конце концов, это была настоящая вода!

Кроме этого странного веселья, нас охватило еще одно чувство: любопытство. Я переживал такое любопытство и раньше как основную реакцию на некоторые экстремальные обстоятельства; например, когда однажды во время восхождения в горы мне угрожала опасность, в критический момент я чувствовал только одно - мне было любопытно как бы со стороны, выйду ли я из этого положения живым, или с разбитым черепом и переломанными костями.

Холодное любопытство преобладало даже в Освенциме, как-то отвлекая наши чувства от окружающего, которое таким образом рассматривалось с некоторой объективностью. Теперь такое состояние духа поддерживалось как самозащита. Мы стремились узнать, что будет дальше; и каковы будут последствия от того, что нас выгнали, совершенно голыми и все еще мокрыми после душа, в промозглый холод поздней осени. Через несколько дней наше любопытство перешло в удивление: никто не простудился.

В запасе было еще много сюрпризов для новоприбывших. Бывшие среди нас медики скоро узнали: учебники врут! Где-то сказано, что человек не может прожить без установленного количества сна. Ничего подобного! Я был уверен, что на какие-то вещи просто неспособен: не могу спать без таких-то удобств или не могу жить в тех или иных условиях. Первую ночь в Освенциме мы спали на многоярусных нарах. На каждом ярусе (примерно 2х2,5 м) спало девять человек, прямо на досках, укрывшись двумя одеялами на всех. Мы могли, разумеется, лежать только на боку, тесно прижавшись друг к другу, что было даже к лучшему из-за жуткого холода. Хотя запрещено было брать обувь на нары, некоторые тайно использовали ее как подушки, пусть она и была заляпана грязью. Иначе приходилось подкладывать под голову руку, едва ее не вывихивая.

Я хочу упомянуть еще несколько подобных вещей - поразительно, как много мы можем вынести: мы не имели возможности чистить зубы, и несмотря на это и на серьезный недостаток витаминов, у нас были более здоровые десны, чем когда-нибудь раньше. Мы носили одну и ту же рубашку полгода, пока она не теряла всякий вид. Целыми днями мы не могли помыться, даже частично, так как замерзали водопроводные трубы, и все же раны и мозоли на руках не гноились (если это не были отморожения). Или, например, люди с чутким сном, которых

мог разбудить малейший шум в соседней комнате, сейчас лежали, прижатые к товарищу, который громко храпел над самым ухом - и это не мешало им крепко спать.

Если бы теперь нас спросили, правдиво ли утверждение Достоевского, что человек - это существо, которое ко всему привыкает, мы бы ответили: "Да, человек может привыкнуть к чему угодно; но не спрашивайте как." Но в тот момент наши психологические исследования еще не зашли так далеко; мы еще не достигли такого состояния. Мы были в первой фазе наших психологических реакций.

Мысль о самоубийстве приходила почти каждому, хотя бы на короткое время. Она возникала от безнадежности положения, постоянной угрозы смерти, висящей над нами ежедневно и ежечасно, и многочисленных смертей вокруг нас. По личным убеждениям, о которых я упомяну позже, я в первый же вечер в лагере твердо пообещал себе, что не буду "кидаться на проволоку". Эта фраза использовалась в лагере для описания наиболее популярного способа самоубийства - дотронуться до колючей проволоки забора, которая находилась под высоким напряжением. Мне было не так трудно принять это решение. Не было смысла совершать самоубийство, потому что средняя продолжительность жизни рядового обитателя лагеря, рассчитанная объективно и с учетом всех возможностей, и так была очень коротка. Трудно было гарантировать, что окажешься среди той малой доли, которая переживет все селекции. Заключение в Освенцима в первой фазе пока не страшило смерти. Даже газовые камеры теряли в его глазах весь свой ужас после первых нескольких дней - в конце концов, они избавляли его от труда совершать самоубийство.

Друзья, которых я позднее встречал, говорили мне, что я не выглядел сильно подавленным после поступления в лагерь. Я только улыбался, и совершенно искренне, когда произошел следующий эпизод наутро после нашей первой ночи в Освенциме. Несмотря на строгий приказ не покидать наших "блоков", мой коллега, который прибыл в Освенцим на несколько недель раньше, прокрался в наш барак. Он хотел успокоить и утешить нас, и сообщить несколько полезных вещей. Он так исхудал, что сначала мы его не узнали. Демонстрируя юмор и беспечность, он среди прочего нам сказал: "Не беспокойтесь! Не бойтесь селекций! Д-р М. (главврач-эсэсовец - Менгеле) щадит докторов!" (Это оказалось лишь иллюзией. Один заключенный, врач при блоке, человек лет шестидесяти, рассказал мне, как он обратился к д-ру М. с просьбой отпустить его сына, обреченного на газовую камеру. Д-р М. холодно отказал.)

"Но об одной вещи я вас просто умоляю" - продолжал мой коллега. - "Брейтесь ежедневно, несмотря ни на что, даже если для этого приходится пользоваться осколком стекла...даже если за него придется отдать последний кусочек хлеба. Вы будете выглядеть моложе, и скобленные щеки будут более розовыми. Если вы хотите остаться в живых, есть только один путь: выглядеть пригодными для работы. Если вы даже просто прихрамываете, скажем, у вас натерта пятка, и эсэсовец это заметит, он отзовет вас в сторону и наверняка отправит "на газ". Вы знаете, кого в лагере зовут "мусульманином"? Человек, который выглядит жалким, больным и изнуренным, который не может больше справляться с физической работой... это и есть "мусульманин". Раньше или позже, обычно раньше, каждый "мусульманин" отправляется в газовую камеру. Так что запомните: бриться, стоять и ходить бодро; тогда вы можете не опасаться газа. Все время, что вы здесь, даже если вы здесь всего двадцать четыре часа, вы не должны бояться газа, за исключением, может быть, вас." Он указал на меня и добавил: "Я надеюсь, вы простите меня за откровенность." А

другим он повторил: "Из вас всех он только один должен опасаться следующей селекции. Так что не волнуйтесь!"

А я улыбнулся. Я теперь думаю, что любой на моем месте сделал бы то же самое.

Кажется, Лессинг однажды сказал: "Есть вещи, которые могут заставить вас потерять голову - разве что вам нечего терять." Аномальная реакция на аномальную ситуацию - это нормальное поведение. Даже мы, психиатры, ожидаем, что реакция человека на такую аномальную ситуацию, как заключение в психиатрическую больницу, будет аномальной прямо пропорционально той мере, в какой он нормален. Реакции человека при его поступлении в концлагерь являются выражением аномального состояния ума, но если судить объективно, это нормальная, и как будет показано дальше, типичная реакция на данные обстоятельства. Реакции, которые я описал, начинают меняться через несколько дней. Заключенный переходит от первой фазы ко второй: фазе относительной апатии, в которой происходит нечто вроде эмоциональной смерти.

Кроме уже описанных реакций, новоприбывшего заключенного мучают другие, более болезненные эмоции, которые он старается заглушить. Прежде всего, это безграничная тоска по дому и семье. Она часто может быть такой острой, что буквально пожирает человека. Потом - отвращение: отвращение к окружающей уродливой действительности.

Большинству заключенных выдали униформу из тряпья, по сравнению с которой пугало выглядело элегантно. Между бараками валялись кучи грязи, и чем больше мы старались их убрать, тем больше вымазывались. Любимой практикой начальства было назначить новоприбывшего в рабочую группу, которая убирала отхожие места и вывозила нечистоты. Если, как часто бывало, экскременты выплескивались в лицо во время перевозки через ухабистые поля, малейшее выражение отвращения со стороны заключенного или попытка вытереть лицо наказывались ударом со стороны капо. Так ускорялся процесс умерщвления нормальных реакций.

Сначала заключенный отворачивался от нарочитой демонстрации наказаний: ему трудно было вынести зрелище, как его сотоварищи часами маршируют взад-вперед по грязи, осыпаясь ударами. Через несколько дней или недель он привыкал. Рано утром, когда еще темно, заключенный стоит со своим отделением перед воротами, готовый к выходу. Он слышит вскрик и видит, как его товарища сбивают с ног, велели встать и снова сбивают - и почему? У него лихорадка, но он не доложил о ней в нужное время. Он наказан за незаконную попытку увильнуть от работы.

Но заключенный, который перешел во вторую стадию своих психологических реакций, уже не станет отводить глаза. Его чувства уже притупились, и он смотрит, не шелохнувшись. Другой пример: он ждет очереди в лазарет, мечтая о двух днях легкой работы по причине травмы, отеков или лихорадки. Он остается невозмутимым, когда при нем к врачу доставляют двенадцатилетнего мальчика, которого заставили часами стоять по стойке "смирно" на снегу или работать на улице босиком, потому что в лагере не нашлось для него обуви. Пальцы на его ногах отморожены, и дежурный врач пинцетом отделяет черные гангренозные суставы, один за другим. Отвращение, ужас и жалость - это эмоции, которые наш зритель уже не может испытывать. За несколько недель лагерной жизни страдальцы, умирающие и мертвые становятся для него настолько обычным зрелищем, что оно его уже не трогает.

Я провел некоторое время в тифозном бараке; температура у многих больных была очень высокой, они бредили, некоторые были близки к смерти. Сразу после смерти одного больного я наблюдал без малейших эмоций сцену, которая повторялась снова и снова при каждой смерти. Один за другим заключенные подходили к еще теплomu телу. Один схватил остатки грязной картошки из миски; другой решил, что деревянные башмаки умершего лучше, чем его собственные, и поменялся с ним. Третий сделал то же самое с курткой мертвеца, а четвертый был рад завладеть - вы только представьте себе - хотя бы хорошим шнурком.

Все это я наблюдал совершенно равнодушно. Потом я попросил санитаря вынести тело. Он схватил тело за ноги, столкнул в узкий проход между двумя рядами досок, служивших кроватями для пятидесяти тифозных больных, и потащил его по неровному земляному полу к двери. Две ступеньки вверх, которые вели наружу, всегда представляли для нас препятствие, ведь мы были обессилены постоянным недоеданием. После нескольких месяцев пребывания в лагере мы не могли подняться по этим ступенькам, высотой около 15 см. каждая, не ухватившись за дверной косяк и не подтянувшись руками.

Санитар приблизился к дверям и сначала с трудом втащил себя наверх. Потом взялся за тело: сначала ноги, потом туловище, и наконец, жутко постукивая по ступенькам, голова трупа поползла наверх.

Мое место было с другой стороны барака, около единственного маленького окошка на уровне земли. Жадно хлебая горячий суп, я случайно выглянул в окно. Только что вынесенный труп смотрел прямо на меня остекленевшими глазами. Два часа назад я разговаривал с этим человеком. Сейчас я продолжал хлебать суп.

Если бы отсутствие эмоций не удивило меня с профессиональной точки зрения, я бы просто не запомнил этот случай - так мало он задел мои чувства.

Апатия, притупление эмоций и чувство равнодушия были симптомами, возникающими во второй стадии психологической реакции заключенного, и они постепенно делали его нечувствительным к ежедневным и ежечасным избиениям. Эта бесчувственность помогала ему окружить себя чрезвычайно необходимой защитной скорлупой.

Избиения происходили по малейшему поводу, а иногда и без всякого повода. Например, как-то я стоял в очереди за хлебом, который выдавали на рабочем месте. Стоявший за мной человек отступил чуть-чуть в сторону, и это нарушение симметрии не понравилось охраннику-эсэсовцу. Я не знал, что происходит в шеренге за мной и в голове охранника, когда внезапно получил два сильных удара по голове. Только тогда я заметил около меня охранника с дубинкой. В такой момент больно не только физически (это верно не только в отношении взрослых, но и наказанных детей), но и от душевного страдания, вызванного беспричинностью и бессмысленностью.

Как ни странно, но удар, который даже не оставляет следов, может при определенных обстоятельствах быть болезненнее, чем другой, после которого остаются синяки. Однажды в метель я стоял на железнодорожной насыпи. Несмотря на непогоду, наше отделение продолжало работать. Я напряженно работал, укладывая гравий, так как это был единственный способ согреться. Только на минутку я остановился, чтоб перевести дыхание, и оперся на лопату. К несчастью, охранник как раз в эту минутку обернулся ко мне и решил, что я бездельничаю. Он причинил мне боль отнюдь не руганью или ударами. Охранник

счел, что не стоит тратить усилия даже на ругань в сторону оборванной, истощенной фигуры, которая стояла перед ним и только смутно напоминала очертания человека. Он просто, как будто играя, поднял камень и бросил его в меня. Мне это напомнило способ, каким привлекают внимание зверя или призывают к порядку домашнее животное - создание, с которым у вас так мало общего, что вы его даже не наказываете.

Самая болезненная сторона избиения - это заключающееся в нем оскорбление. Один раз мы должны были нести длинные, тяжелые балки по обледеневшей дороге. Если кто-нибудь поскользнется, это опасно не только для него, но и для всех, кто несет эту балку. Один из моих друзей страдал врожденным вывихом бедра. Он был рад, что несмотря на это мог работать, так как инвалидов почти наверняка отправляли на смерть во время селекции. Он едва ковылял по скользкой дороге с особо тяжелой балкой, и мне показалось, что он вот-вот упадет и увлечет за собой других. В этот момент я не нес балки, и подбежал на помощь чисто инстинктивно. Меня немедленно ударили по спине, грубо выругали и приказали вернуться на свое место. Несколько минут назад тот самый охранник, который меня ударил, с осуждением разглагольствовал о том, какие мы все "свиньи", лишенные чувства товарищества.

В другой раз, в лесу, при температуре примерно -15 градусов по Цельсию, мы начали рыть траншею для укладки водопроводных труб в каменно промерзшей земле. К тому времени я физически сильно ослабел. Тут подошел бригадир с круглыми розовыми щеками. Его лицо поразительно напоминало свиное рыло. На руках его были добротные теплые перчатки. Некоторое время он молча наблюдал за мной. Я чувствовал, что он закипает, глядя на слишком маленький холмик земли, которую я смог накопать за все время.

Потом он начал: "Свинья, я наблюдал за тобой все время! Я еще научу тебя работать! Ты еще дождешься у меня, что будешь рыть землю зубами - ты подохнешь, как животное! Ты, наверно, за свою жизнь ни минуты не работал. Кем ты был, свинья? Бизнесменом?"

Вообще-то его ругань меня не задевала. Но к угрозе убить меня следовало отнестись серьезно, так что я выпрямился и посмотрел ему прямо в глаза. - "Я был доктором-специалистом."

"Что? Доктор? Готов поклясться, что ты вытянул у людей кучу денег"

"Случилось так, что большую часть времени я работал вообще бесплатно, в клинике для бедных."

На этот раз я сказал лишнее. Он бросился на меня и сбил с ног, вопя как сумасшедший. Я уж не помню, что он кричал.

Я хотел показать этой явно тривиальной историей, что бывают моменты, когда раздражение может пробудиться даже у как будто закаленного узника - возмущение не жестокостью или болью, а оскорблением, которое с ними связано. В тот раз кровь бросилась мне в голову, потому что я вынужден был слушать, как человек судит о моей жизни, не имея о ней ни малейшего представления, причем (должен признаться: примечание, которое я высказал моим товарищам после этой сцены, доставило мне детское утешение) "человек, который выглядит так вульгарно и отвратительно, что сестра в вестибюле моего госпиталя даже не пустила бы его в приемную."

К счастью, капо в моей рабочей партии относился ко мне хорошо - он был благодарен мне за то, что я выслушивал рассказы о его любовных историях и семейных неприятностях во время долгих переходов к месту работы. Я произвел на него впечатление моим диагнозом его характера и психотерапевтическими советами. Он был мне за это благодарен, и сейчас это оказалось очень ценным.

Уже несколько раз он резервировал мне место около себя в одном из первых пяти рядов нашего отделения, которое обычно насчитывало 280 человек. Это покровительство было существенным. Мы выстраивались рано утром, когда было еще темно. Каждый боялся опоздать и попасть в задние ряды. Если требовались люди на неприятную работу, появлялся старший капо и обычно набирал их из задних рядов. И они должны были отправиться выполнять особо противную работу под командой незнакомых охранников. Иногда старший капо выбирал людей из первых пяти рядов, просто чтобы схватить тех, кто пытался умничать. Все протесты и просьбы смолкали после нескольких умело направленных ударов, и жертвы покорно шли куда надо.

Однако, пока мой капо чувствовал потребность излить мне душу, со мной этого не могло произойти. У меня было гарантированное почетное место рядом с ним. Но тут было еще одно преимущество. Я страдал от отеков. Мои ноги настолько распухли и кожа на них была так туго натянута, что я с трудом сгибал колени. Мне приходилось оставлять башмаки незашнурованными, чтоб они налезали на мои распухшие ноги. Для носков там просто не было места, даже если бы они у меня были. Поэтому мои полубосые ноги были всегда мокрыми, а башмаки полны снега. Разумеется, это вызывало обморожение. Каждый шаг становился настоящим мучением. Наша обувь обледеневала во время долгих переходов по снежным полям. Люди часто оскальзывались, и те, что были сзади, падали, наталкиваясь на упавших впереди. Тогда колонна ненадолго останавливалась. Один из охранников тут же принимал меры, работая прикладом, и подгонял, чтобы мы шли быстрее. Чем ближе к голове колонны вы находились, тем реже приходилось останавливаться и потом нагонять колонну на больных ногах. Я был счастлив, что мне удалось стать личным врачом его сиятельства капо и идти в первых рядах размеренным шагом.

В виде дополнительной платы за свои услуги я мог быть уверен, что во время раздачи супа на рабочем месте, когда подойдет моя очередь, капо опустит черпак на самое дно и выудит несколько горошин. Этот капо, бывший армейский офицер, даже имел смелость шепнуть бригадиру, с которым я конфликтовал, что знает меня как необычайно хорошего работника. Это значило не слишком много, но на следующий день он сунул меня в другую рабочую партию. Возможно, он этим спас мне жизнь (а это лишь один из многих случаев, когда приходилось ее спасать).

х х х

Бывали бригадиры, которые нам сочувствовали и делали все, что могли, чтобы облегчить наше положение. Но даже они попрекали нас тем, что обычный рабочий делает в несколько раз больше, чем мы, и к тому же за меньшее время. Но ведь они знали, в чем дело - нормальный рабочий не живет на пайке в 300 г. хлеба (это теоретически; на самом деле мы часто получали меньше) и 0,8 л. жидкого супа в день; нормальный рабочий не живет в таком психологическом напряжении, как мы, не имея весточки от семьи, которая либо была в другом лагере, либо сразу отправлена в газовую камеру; нормальному рабочему не угрожает смерть непрерывно, ежедневно и ежечасно. Я даже позволил себе однажды сказать благожелательному бригадиру: "Если бы вы так же быстро научились у меня производить операции на мозге, как я научился у вас строить дороги, я бы почувствовал к вам огромное уважение." Он только усмехнулся.

Апатия, главный симптом второй фазы, была необходимым механизмом самозащиты. Окружающая действительность затуманивалась, и все усилия и эмоции были сосредоточены на одной задаче: сохранить свою жизнь и жизнь друзей. Обычно можно было услышать, когда вечером после работы нас вели в лагерь, как кто-нибудь со вздохом облегчения произносил: "Слава Богу, еще один день прошел!"

Можно легко понять, что такое состояние напряжения, соединенное с постоянной необходимостью сосредоточиться на задаче остаться в живых, низводило внутреннюю жизнь заключенного до примитивного уровня. Некоторые из моих коллег в лагере, знакомые с психоанализом, часто говорили о "регрессии" узников - возврате к более примитивной форме душевной жизни. Их желания и надежды ярче всего проявлялись во сне..

Что чаще всего снится заключенному? Хлеб, печенье, сигареты и хорошая горячая ванна. Из-за недоступности этих простых вещей наяву, заключенный искал исполнения желаний во сне. Насколько полезны эти сны - другой вопрос: сновидцу приходится пробуждаться от них к реальности лагерной жизни и жестокому контрасту между ней и иллюзиями сна.

Я никогда не забуду, как однажды ночью я был разбужен стоном соседа, который метался во сне, явно из-за какого-то ужасного кошмара. Так как я всегда испытывал особую жалость к людям, страдающим кошмарами, то решил разбудить беднягу. Внезапно я отдернул руку, уже протянутую к его плечу, испугавшись того, что я чуть-чуть не совершил: в этот момент я совершенно ясно осознал, что никакой сон, даже самый страшный, не может быть так ужасен, как окружающая нас действительность лагеря, к которой я его чуть было не вернул.

Из-за совершенно недостаточного питания, от которого страдали заключенные, было вполне естественно, что вожаемые мечты о хлебе были тем главным примитивным инстинктом, вокруг которого была сосредоточена душевная жизнь. Если двое заключенных работали рядом, а охрана следила не слишком пристально, они, как правило, сразу начинали говорить о еде. Один спрашивает у соседа - какие блюда он больше всего любил. Затем они начинают обмениваться рецептами и составляют меню на тот день, когда встретятся - тот день в далеком будущем, когда они будут свободны и вернуться домой. Они говорят и говорят, рисуя все в деталях, пока внезапно вдоль траншеи не пронесется предупреждение, обычно в виде специального пароля или числа: "Пришла охрана".

Я всегда считал разговоры о еде опасными. Разве не вредно провоцировать организм такими подробными сильнодействующими картинками деликатесов, когда он каким-то образом сумел адаптироваться к крайне скудному и низкокалорийному рациону? Пусть давая сиюминутное утешение, эта иллюзия в психологическом отношении наверняка небезопасна.

Ближе к концу нашего заключения дневной рацион состоял из очень водянистого супа, который давали раз в день, и обычного маленького хлебного рациона. Был еще так называемый "добавочный паек", состоявший из 20 г. маргарина, или ломтика скверной колбасы, или кусочка синтетического меда, или ложки жидкого джема. По калорийности эта диета была абсолютно недостаточной, особенно принимая во внимание нашу тяжелую физическую работу и постоянное пребывание на холоде в неподходящей одежде. Больным, которых были "под особой заботой", то-есть тем, кому было разрешено лежать в бараке вместо того, чтобы выйти из лагеря на работу, было еще хуже.

Когда исчезли последние слои подкожного жира, и мы окончательно стали скелетами, обтянутыми кожей и лохмотьями, наши тела начали пожирать сами себя. Организм начал переваривать свой собственный белок, и мускулы стали исчезать. Один за другим умирали члены маленькой общины нашего барака. Каждый из нас мог точно рассчитать, чья очередь будет следующей и когда подойдет его собственная. После многих наблюдений мы хорошо узнали симптомы, которые делали наши прогнозы очень уверенными, "Он долго не протянет" или "Это следующий", - мы шептали один другому, и когда, во время ежевечерних поисков вшей, мы разглядывали свое собственное обнаженное тело, то думали вот о чем: "Вот это тело, мое тело - уже почти как труп. Что стало со мной? Я просто маленькая частица массы человеческой плоти - массы за колючей проволокой, скученной в нескольких землянках-бараках; массы, определенная часть которой начинает разлагаться, потому что она стала безжизненной."

Я выше упоминал, как невозможно было избавиться от мыслей о еде и любимых блюдах, которые врываются в сознание заключенного, как только у него появлялась свободная минута. Наверное, легко понять, что даже самые сильные из нас тосковали о времени, когда у них снова будет обильная и хорошая пища, не столько ради самой еды, сколько ради того, чтоб вырваться из нечеловеческого существования, лишившего нас способности думать о чем-нибудь, кроме еды.

Те, кто не прошел через подобный жизненный опыт, навряд ли сможет понять разрушающий душу конфликт и усилия воли, которые переживает голодающий. Они едва ли могут вообразить, что значит рыть траншею, напряженно вслушиваясь, когда наконец сирена объявит получасовой интервал, и будут раздавать хлеб; что значит постоянно переспрашивать бригадира - если он позволял это - который час; что такое нежно дотрагиваться до куска хлеба в кармане куртки, поглаживая его замерзшими голыми пальцами, затем отламывать крошку за крошкой и класть в рот, и наконец последним усилием воли снова прятать его в карман, обещая себе, что этим утром он продержится до обеда.

Мы могли бесконечно обсуждать, разумны ли разные методы обращения с маленьким хлебным рационом, который в последний период нашего заключения выдавался раз в день. Было два основных подхода. Одни полагали, что следует сразу съесть весь хлеб. Тут было сразу два преимущества: по крайней мере раз в день можно было заглушить самые страшные голодные рези - хотя бы на короткое время, и это была самая надежная защита от кражи или потери рациона. Вторая группа придерживалась принципа растягивания хлебной нормы на целый день, используя другие доводы. К ним я в конце концов и присоединился.

Из ежедневных 24 часов лагерной жизни самым ужасным моментом было пробуждение, когда еще в ночное время три пронзительных гудка сирены безжалостно прерывали наш тяжелый сон. Мы начинали борьбу с мокрыми башмаками, в которые едва можно было втиснуть ноги, воспаленные и опухшие от отеков. Раздавались обычные стоны и вздохи по поводу мелких неприятностей, таких как обрыв проволоки, заменявшей шнурки для ботинок. Однажды утром человек, обычно мужественный и достойный, заплакал как ребенок: его башмаки окончательно вышли из строя, и ему предстояло идти босиком по заснеженной земле. В эти кошмарные минуты утешением мне служил кусочек хлеба, который я вытаскивал из кармана и с наслаждением жевал.

Помимо того, что недоедание вызывало всеобщую озабоченность едой, из-за него полностью исчезали сексуальные желания. Кроме первоначального шока, это может быть единственной причиной явления, которое я как психолог невольно

наблюдал в этих чисто мужских лагерях: в противоположность другим мужским заведениям - таким как военные казармы - там было мало сексуальных извращений. Даже в своих снах заключенный не был озабочен сексом, хотя его расстроенные эмоции и более высокие и утонченные чувства определенно выражали себя во снах.

У большинства заключенных необходимость тратить все усилия на элементарное выживание приводила к полной потере интереса ко всему, что не служило этой цели, и этим легко объяснить их полное бесчувствие. Я столкнулся с этим при переводе из Освенцима в лагерь - филиал Дахау. Наш поезд шел через Вену. Он должен был пройти мимо улицы, где я родился, мимо дома, где я провел много лет своей жизни - фактически все годы до отправки в лагерь.

Нас было пятьдесят в тюремном вагоне с двумя маленькими зарешеченными окошками. Только часть заключенных имела возможность присесть на корточки. Остальные, вынужденные часами стоять, толпились около окошек. Поднявшись на цыпочки и глядя поверх голов сквозь решетку окна, я бросил (как я тогда думал - прощальный) взгляд на мой родной город. Мы все чувствовали себя скорее мертвыми, чем живыми, так как думали, что наш поезд отправляется в Маутхаузен и что нам осталось жить всего одну-две недели. У меня было отчетливое чувство, что я вижу улицы, площади и дома моего детства глазами мертвого человека, который с того света смотрит вниз на призрачный город.

После нескольких часов задержки на станции поезд двинулся. И вот улица - моя улица! Молодые парни с годами лагерной жизни за плечами были, для которых это путешествие было для них большим событием, пристально разглядывали город. Я начал их просить, умолял пустить меня к окошку хоть на одно мгновение. Я пытался объяснить, как много значит для меня взгляд на Вену именно сейчас. Мне грубо и цинично отказали: "Ты жил тут все время? Стало быть, ты уже успел насмотреться!"

В лагере царила еще и "культурная спячка". Было два исключения: религия и политика. О политике говорили повсюду и почти непрерывно; обсуждения были основаны в основном на слухах, которые быстро и жадно подхватывались и передавались друг другу. Слухи о военном положении обычно бывали противоречивы. Они быстро сменяли друг друга и только усиливали напряжение и нервозность у заключенных. Много раз надежды на скорый конец войны, раздуваемые оптимистическими слухами, сменялись разочарованием и отчаянием. Некоторые из нас теряли всякую надежду, но еще хуже были неисправимые оптимисты - они раздражали больше всего.

Тяга заключенных к религии, если она у них возникала, бывала невероятно искренней. Глубина и сила религиозной веры часто удивляла и трогала новоприбывших. Самыми впечатляющими в этом отношении были импровизированные молитвы и богослужения в уголке барака или в темном кузове запертого грузовика для скота, в котором нас, усталых и замерзших, везли с дальних рабочих участков.

Зимой и весной 1945 г. произошла вспышка тифа, которым заразились почти все заключенные. Смертность среди ослабевших от непосильной работы людей была высока. Помещения для больных никуда не годились, практически не было ни лекарств, ни персонала. Некоторые симптомы болезни были крайне малоприятны: непобедимое отвращение к малейшей крошке еды (что было дополнительной опасностью для жизни) и страшные приступы горячки. Жуткий случай горячки был у моего друга, который считал, что умирает, и пытался

молиться, но в своем бреде не мог найти слов для молитвы. Чтобы избежать этих приступов бреда, я старался, как и многие другие, не спать всю ночь. Часами я сочинял речи в уме. Постепенно я начал восстанавливать рукопись, которую потерял в дезинфекционной камере Освенцима, стенографически нацарапывая ключевые слова на маленьких обрывках бумаги.

Иногда в лагере разворачивались научные дискуссии. Однажды я стал свидетелем зрелища, никогда не виданного мной даже в нормальной жизни, хотя и близкого к моим собственным профессиональным интересам: спиритического сеанса. Я был приглашен главным врачом лагеря (тоже заключенного), который знал, что я специалист-психиатр. Сеанс происходил в его маленькой личной комнате в больничном бараке. Собрался маленький кружок, и среди них, в нарушение правил, старшина из санитарной команды.

Один человек начал вызывать духов чем-то вроде молитвы. Лагерный клерк сидел перед листом чистой бумаги без всякого сознательного намерения писать. Через десять минут (после которых сеанс закончился, поскольку медиуму не удалось упросить духов явиться) его карандаш совершенно отчетливо вывел на бумаге "VAE V". Все считали, что клерк никогда не учился латыни и никогда раньше не слышал слов "vae victis" - "горе побежденным". А по-моему, он наверняка когда-то их слышал, но не запомнил сознательно, и они оказались в распоряжении "духа" - духа его подсознательного мышления - как раз сейчас, за несколько месяцев до нашего освобождения и окончания войны.

Несмотря на вынужденную физическую и умственную примитивность лагерной жизни, духовная жизнь могла стать даже глубже. Люди с тонкой чувствительностью, которые привыкли к напряженной интеллектуальной жизни, могли испытывать сильные страдания (они часто бывали хрупкого сложения), но потери их внутреннего Я были меньше. Они могли найти прибежище от окружающего кошмара в богатой внутренней жизни и духовной свободе. Только так можно объяснить явный парадокс: некоторые заключенные, которые совсем не выглядели крепкими, часто выживали в лагерных условиях успешнее, чем здоровяки. Чтобы лучше это разъяснить, мне опять придется обратиться к одному личному переживанию.

Однажды рано утром, как обычно, мы шагали к месту работы. Раздавались крики команды: "Отделение, вперед марш!левой - два-три-четыре!левой - два-три-четыре!левой - два-три-четыре!левой - два-три-четыре! ШАПКИ ДО-ЛОЙ!" Эти слова до сих пор звучат в моих ушах. При команде "ШАПКИ ДОЛОЙ!" мы проходили через ворота лагеря, и на нас наводились лучи прожекторов. И плохо приходилось тому, кто из-за холода натягивал шапку на уши до того, как давалось позволение.

Мы брели в темноте, шлепая по широким лужам и спотыкаясь о камни, по единственной дороге, ведущей из лагеря. Сопровождающие нас конвойные кричали на нас и подталкивали прикладами. Те, у кого ноги были изранены, опирались на плечо соседей. Мы шли в молчании: ледяной ветер не располагал к разговорам. Пряча рот в поднятый воротник, мой сосед внезапно шепнул: "Если бы наши жены увидели нас сейчас! Я надеюсь, что в их лагерях условия лучше, и что они не знают, что происходит с нами."

Я начал думать о своей жене, и пока мы брели и брели, скользя на обледеневших местах, поддерживая друг друга, мы оба молчали, но знали, что каждый думает о своей жене. Иногда я смотрел на небо, где уже тускнели звезды, и розовый свет утра начал пробиваться из-за облачной гряды. Но мысли были заняты образом моей жены, который представлялся со сверхъестественной

остротой. Я слышал, как она отвечает мне, видел ее улыбку, ее открытый и ободряющий взгляд. Реальный или воображаемый, ее взгляд сиял сильнее, чем солнце, которое начало восходить.

Меня пронзила мысль: в первый раз в жизни я увидел истину, воспетую в стихах стольких поэтов и провозглашенную как конечная мудрость столькими мыслителями: любовь - это конечная и высшая цель, к которой может стремиться человек. И тогда я осознал величайший из секретов, которыми могут поделиться поэзия, мысль и вера: спасение человека происходит через любовь и в любви. Я понял, что человек, у которого ничего не осталось на этом свете, все еще может познать блаженство, хотя бы только на короткое мгновение, в мысленном общении со своими любимыми. В состоянии крайней безысходности, когда человек не может выразить себя в какой-нибудь полезной деятельности, когда его единственное достижение - это достойно переносить свои страдания, - даже в таком положении человек может, через полное любви размышление о близком человеке, выразить себя. В первый раз в жизни я был способен понять смысл слов: "Блаженны ангелы, погруженные в вечное и полное любви созерцание бесконечной красоты."

Человек передо мной споткнулся, и задние упали на него. Подбежал конвоир и обрушил удары плети на всех подряд. Это прервало мои мысли на несколько минут. Но скоро моя душа сумела вернуться из лагерной действительности в другой мир, и я возобновил разговор с моей любимой: я задавал ей вопросы, она отвечала; она спрашивала меня, и я отвечал.

"Стоп." Мы пришли на место работы. Все кинулись в темный сарай с надеждой опередить других и получить хороший инструмент. Каждый получал заступ или кирку.

"Эй, свиньи, не можете поживей?" Скоро мы заняли наши вчерашние места в траншее. Мерзлая земля раскалывалась под ударами кирки - только искры летели. Люди работали молча, их мозг оцепенел.

Мои мысли все еще были сосредоточены на образе моей жены. Я даже не знал, жива ли она. Но мне стало ясно (теперь-то я хорошо понимаю эту истину): любовь гораздо шире физической личности любимого человека. Она сосредоточена на духовном существовании любимого, его внутренней сущности. Присутствует ли он тут физически, и даже жив он или нет, в каком-то смысле теряет значение.

Я не знал, жива ли моя жена, и был лишен возможности это узнать (во время всего моего трехлетнего заключения не было никакой исходящей или входящей почты); но в тот момент это уже было неважно. Мне незачем было знать; ничто не могло разрушить силы моей любви, моих мыслей и образа любимой. Даже знай я, что моя жена погибла, то думаю, что невзирая на это предавался бы размышлениям о ее образе, и что моя мысленная беседа с ней была бы такой же живой и давала бы такое же утешение. "Положи меня как печать на сердце свое, ибо любовь сильна, как смерть."

Такой подъем внутренней жизни давал заключенному убежище от пустоты, отчаяния и духовной бедности его существования, позволяя ему спастись в прошлом. Выпущенное на волю воображение всюду играло прошедшими событиями, часто не очень значительными, мелкими происшествиями и пустяками. В ностальгических воспоминаниях они возвеличивались и принимали странный характер. Мир прошлых событий, само их существование казались очень далекими, и душа с тоской стремилась к ним: я мысленно совершал поездки на автобусе, отпирал входную дверь своей квартиры, отвечал на телефонные

звонки, включал электрический свет. Наши мысли часто сосредотачивались на этих мелких деталях, и воспоминания о них трогали до слез.

С усилением внутренней жизни заключенного он начинал воспринимать красоту искусства и природы с такой остротой, как никогда раньше. Иногда под их влиянием он даже забывал свое собственное страшное положение. Если бы кто-нибудь увидел наши лица во время путешествия из Освенцима в баварский лагерь, когда мы созерцали горы Зальцбурга с их сияющими на закате вершинами, через маленькое зарешеченное оконце арестантского вагона, он бы никогда не поверил, что это лица людей, потерявших всякую надежду на жизнь и свободу. Несмотря на это - а может быть благодаря этому - нас захватила красота природы, которой нам так долго не хватало.

И в лагере человек мог привлечь внимание товарища к прекрасному зрелищу заката, когда солнце просвечивает сквозь высокие деревья баварских лесов (как на знаменитой акварели Дюрера) - именно в этих лесах мы строили огромный подземный военный завод. Однажды вечером, когда мы уже отдыхали на полу нашего барака, досмерти усталые, с миской супа в руках, вбежал наш товарищ и позвал выйти посмотреть на великолепный закат. Стоя снаружи, мы смотрели на пылающие на западе тучи и на небо, полное облаков, непрерывно меняющих свой цвет и форму, от голубовато-стального до кроваво-красного. Наши жалкие серые землянки резко контрастировали со всем этим богатством, а лужи на мокрой земле щедро отражали пылающее небо. После нескольких минут растроганного молчания, один заключенный сказал другому: "Каким прекрасным мог бы быть этот мир!"

В другой раз мы работали в траншее. Был серый рассвет; серым было небо над нами, серым был снег в бледном свете хмурого утра; серыми были наши лохмотья, и серыми были наши лица. Я снова молча разговаривал со своей женой, а может, я пытался найти смысл моих страданий, моего медленного умирания. В последнем яростном протесте против безнадежности и неминуемой смерти я почувствовал, как мой дух прорывается через окутывающий все мрак. Я чувствовал, как он переступает через границы этого бессмысленного мира, и откуда-то я услышал победное "Да" в ответ на мой вопрос о существовании конечной цели. В этот момент зажегся свет в окне далекого домика, будто нарисованного на горизонте, среди серости раннего баварского утра. "Et lux in tenebris lucet" - и свет засиял в темноте. Часами я стоял, врубаясь в ледяную землю. Прошел мимо охранник, осыпая меня оскорблениями. Я опять стал общаться со своей любимой. Я все больше и больше чувствовал ее присутствие рядом со мной, казалось, что я могу дотронуться до нее, протянуть руку и сжать ее руку. Чувство было очень сильным: она была тут. И в это мгновение птица тихо слетела вниз и села прямо передо мной, на кучу накопанной мной земли, и пристально посмотрела на меня.

Ранее я упомянул искусство. Существовала ли такая вещь в концлагере? Это скорее зависит от того, что называть искусством. Время от времени импровизировалось нечто вроде кабаре. На время освобождали барак, несколько деревянных скамей сдвигались или сколачивались вместе, и составлялась программа. Вечером там собирались привилегированные заключенные - капо и рабочие, которые не должны были покидать лагерь для переходов к далекому месту работы. Они приходили, чтобы немного посмеяться или, может быть, чуть-чуть поплакать; как бы то ни было, забыться. Там были песни, стихи, шутки, некоторые с сатирической подоплекой по отношению к лагерю. Все было предназначено для того, чтобы помочь забыться - и действительно помогало.

Эти сборища были настолько действенны, что некоторые рядовые заключенные тоже приходили смотреть кабаре, несмотря на усталость и даже на потерю вечерней порции еды.

Во время получасового обеденного перерыва, когда на участке раздавали суп (который оплачивали наниматели - и не очень на него тратились), нам разрешалось собираться в недостроенном помещении для двигателя. У входа каждый получал по черпаку водянистого супа. Пока мы жадно его хлебали, один из заключенных взбирался на бочку и пел итальянские арии. Мы наслаждались пением, и ему была гарантирована двойная порция супа прямо "со дна" - это означало - с горохом!

Награды в лагере можно было получить не только за развлечения, но и за аплодисменты. Я, например, мог бы найти протекцию (как мне повезло, что она мне так и не понадобилась) у самого страшного капо нашего лагеря, который по более чем основательным причинам был известен как "кровавый капо". Однажды вечером мне снова оказали высокую честь быть приглашенным в комнату, где когда-то происходил спиритический сеанс. Там собрались самые близкие друзья главврача, и опять - нелегально - старшина из санитарной команды. В комнату заглянул "кровавый капо", и его попросили почитать свои стихи, которые славились в лагере (своей бездарностью). Он не заставил просить себя дважды, и быстро достал нечто вроде дневника, из которого и начал читать образцы своего творчества. Я до боли кусал губы, чтобы удержаться от смеха над одним из его любовных стихотворений, и скорее всего это сохранило мне жизнь. Потому я не поспешил на аплодисменты, и моя жизнь была бы спасена, даже если я бы снова попал в его рабочую партию; меня уже посылали туда на один день, и этого мне хватило с лихвой. В любом случае, полезно было оставить о себе хорошее впечатление у "кровавого капо". Поэтому я хлопал громко, как только мог.

Вообще говоря, любое занятие искусством в лагере было в какой-то мере гротеском. Я бы сказал, что реальное впечатление, от чего-нибудь, напоминавшего искусство, возникало только благодаря зловещему контрасту на безнадежном фоне лагерной жизни. Я никогда не забуду, как в мою вторую ночь в Освенциме, музыка заставила меня очнуться от глубокого сна обессиленного человека. Старший охранник барака что-то праздновал в своей комнате у входа в барак. Пьяные голоса орали какие-то избитые песни. Вдруг наступила тишина, и скрипка запела отчаянно грустное танго, необычную мелодию, не испорченную частым повторением. Скрипка рыдала, и душа моя рыдала вместе с ней - потому, что в этот день кому-то исполнилось двадцать четыре года. Этот кто-то был в другой части лагеря, может быть всего в нескольких сотнях или тысячах метров от меня - и все же совершенно недосыгаем. Этот кто-то был - моя жена.

Внешний наблюдатель удивился бы, обнаружив в концлагере видимость искусства, но он был бы поражен еще сильнее, если бы услышал, что там можно обнаружить еще и чувство юмора; пусть лишь, слабые следы, и всего на минуту. Юмор был еще одним оружием души в борьбе за самосохранение. Хорошо известно, что юмор, более чем какое-нибудь другое свойство человеческой природы, помогает стать как бы вне окружающей действительности, подняться над ней хотя бы на несколько секунд. Я сумел помочь своему другу, работавшему рядом со мной на стройке, развить чувство юмора. Я предложил, чтобы мы обещали друг другу ежедневно придумывать хотя бы одну забавную историю о каком-нибудь инциденте, который может произойти после нашего освобождения. Он был хирургом и работал ассистентом в штате нашей больницы. И я однажды

заставил его улыбнуться, описывая, как он не сможет отказаться от привычек лагерной жизни, когда вернется к своей прежней работе. На стройке (особенно когда надсмотрщик совершал свой инспекционный обход) бригадир подгонял нас выкриками: "Действовать! Действовать!" Я сказал своему приятелю: "Однажды, когда ты будешь выполнять большую полостную операцию, внезапно в операционную ворвется санитар, объявляя о приходе старшего хирурга криком: "Действовать! Действовать!"

Иногда другие выдумывали забавные истории о будущем, например, как на званом обеде, когда внесут супницу, мы забудемся и начнем умолять хозяйку зачерпнуть нам "со дна".

Попытка развить чувство юмора и видеть вещи с их смешной стороны - это некий вид уловки, которой можно научиться, овладевая искусством жить. И человек может тренироваться в искусстве жить даже в концлагере, где царит страдание. Можно привести аналогию: если в пустую комнату накачать любое количество газа, он равномерно распределится по всей комнате. Так же и страдание, будь оно сильным или незначительным, заполняет всю душу человека и его сознание, ибо "размеры" человеческого страдания вполне относительны.

Так же и совершенный пустяк может вызвать бурное ликование. Например, вот что произошло во время нашего переезда из Освенцима в лагерь - филиал Дахау. Все опасались, что наш транспорт едет прямо в лагерь Маутхаузен. Напряжение все более нарастало по мере того, как мы приближались к мосту через Дунай, который, по утверждению опытных путешественников, вел в Маутхаузен. Трудно представить себе тот танец радости, который исполнили в вагоне заключенные, когда убедились, что поезд не проехал по мосту, а вместо этого отправился "всего лишь" в Дахау.

И опять же, что произошло, когда мы прибыли в Дахау после путешествия, которое длилось два дня и три ночи? В вагоне было недостаточно места, чтобы все одновременно могли присесть на корточки. Большинство из нас вынуждено было стоять всю дорогу, в то время как немногие по очереди сидели на скудной соломе, мокрой от мочи. Когда мы прибыли, первая важная новость, услышанная от старожилов, была, что этот сравнительно небольшой лагерь (на 2500 человек) не имел ни печей, ни крематория, ни газа! Это означало, что человек, ставший "мусульманином", не будет отправлен прямо в газовую камеру, а должен ждать, пока так называемый "конвой больных" не будет собран для отправки обратно в Освенцим. Этот радостный сюрприз привел всех в хорошее настроение. Пожелание старшего надзирателя нашего освенцимского барака исполнилось: мы прибыли, да еще и так быстро, в лагерь, где не было "трубы" - не то что в Освенциме. Мы смеялись и сыпали шутками, несмотря на то, и во время того, что нам предстояло в следующие несколько часов.

Когда новоприбывших пересчитали, оказалось, что одного из нас не хватает. И нам пришлось ждать под дождем и холодным ветром, пока не нашли отсутствующего. Его обнаружили в бараке, где он свалился и мгновенно заснул, изнуренный дорогой. И тогда переключка превратилась в парад наказания. Всю ночь и до позднего утра нам пришлось простоять под открытым небом, промерзшими и вымокшими до костей, после долгого изнурительного путешествия. И все же мы были очень рады! В этом лагере не было трубы, а Освенцим был далеко.

В другой раз мы увидели группу обыкновенных арестантов, которых провели мимо места, где мы работали. Насколько очевидной оказалась относительность всех страданий! Мы завидовали этим заключенным, их относительно

упорядоченной, безопасной и счастливой жизни! Они наверняка имели возможность регулярно принимать душ, грустно думали мы. У них наверняка были зубные щетки и щетки для одежды, матрацы - у каждого свой - и ежемесячная почта, приносящая им вести от родных, или хотя бы известия, живы ли они. Мы уже очень давно были лишены всего этого...

А как мы завидовали тем, кому повезло работать на фабрике, в закрытом помещении! Каждый мечтал о такой удаче - она могла спасти жизнь! Шкала относительного везения простиралась еще дальше. Среди отделений, работавших вне лагеря (я входил в одно из них), некоторые считались в худшем положении. Можно было завидовать тем, кому не приходилось брести по скользкой слякотной глине на крутом склоне, разгружая вагонетки узкоколейки по 12 часов ежедневно. Большинство несчастных случаев происходило именно там, часто - смертельных.

В других рабочих партиях бригадиры имели традицию раздавать удары направо и налево, и мы считали относительным везением не попасть в их команду, а если попадать, то ненадолго. Однажды мне не повезло, и я попал в такую группу. Если бы сигнал воздушной тревоги не прервал нашу работу через два часа (в течение которых бригадир посвящал свое внимание исключительно мне), после чего группы переформировали, я думаю, что возвратился бы в лагерь на волокуше, на которой доставляли в лагерь умерших или умирающих от изнурения. Никто не может представить себе облегчения, которую может доставить сирена в такой ситуации; даже боксер, который услышал гонг, извещающий конец раунда и спасающий его от нокаута.

Мы были благодарны за малейшую милость. Мы были рады, если хватало времени поискать вшей перед сном, пусть сама процедура была малоприятной - приходилось стоять голыми в нетопленном бараке, где с потолка свисали сосульки. Но мы были благодарны, если в это время не было воздушной тревоги и не выключали свет. Если не проделать это достаточно тщательно, потом полночи невозможно спать.

Скудные радости лагерной жизни относились в основном к "отрицательному счастью" - они были "отсутствием страдания", как выразился Шопенгауэр, да и то в относительной степени. Настоящие положительные удовольствия, даже малейшие, были очень редки. Я помню, как однажды составил нечто вроде балансового отчета, и обнаружил, что за много, много прошедших недель я испытал только два момента удовольствия. Один из них: по возвращении с работы меня после долгого ожидания впустили на кухню и определили в очередь к повару из заключенных Ф. Он стоял за одним из огромных котлов и разливал суп в миски, которые протягивали торопливо проходившие перед ним заключенные. Он был единственным поваром, который не глядел на людей, чьи котелки он наполнял; единственным поваром, который разливал суп всем одинаково, у которого не было любимчиков из своих личных друзей или земляков, для которых он выуживал бы картошку, в то время как другие получали бы водянистый суп, зачерпнутый сверху.

Но я не могу осуждать тех заключенных, которые давали преимущество своим перед остальными. Кто может бросить камень в человека, который покровительствует своим друзьям в обстоятельствах, когда рано или поздно это может спасти ему жизнь? Ни один человек не должен их судить, пока не спросит себя с абсолютной искренностью, не поступил ли бы он точно так же в подобных обстоятельствах.

Через долгое время, когда я давно уже вернулся к нормальной жизни, мне показали иллюстрированный еженедельник с фотографиями заключенных, тесно

лежащих на нарах и хмуро уставившихся на посетителя. "Разве это не ужасно - все эти страшные глазающие лица?"

"Почему?" спросил я, потому что я искренне не понял. В этот момент все опять возникло у меня перед глазами: пять часов утра, на улице еще тьма кромешная. Я лежу на твердых досках в землянке, где нас около семидесяти. Мы были больны и не должны были покидать из лагерь и идти на работу; не надо было выходить на построение. Мы могли целый день лежать в своем уголке барака, дремать и ждать ежедневной раздачи хлеба (норма для больных была, конечно, урезана) и ежедневной порции супа (разбавленного, и тоже в уменьшенной порции). Но как мы были довольны и счастливы, несмотря на все. Сбившись вместе, чтобы избежать излишней потери тепла, и стараясь и пальцем не шевельнуть без необходимости, мы слышали пронзительные свистки и крики на площади, где для переключки была выстроена только что вернувшаяся ночная смена. Распахнулась дверь, и в барак ворвалась метель. Прибрел смертельно уставший товарищ, надеясь присесть на несколько минут. Но старший надзиратель вернул его назад. Было строго запрещено допускать чужого в барак, пока происходила проверка. Как жаль мне было этого парня, и как хорошо было в этот момент быть не в его шкуре, а больным, и иметь возможность подремать в лазарете! Какое это спасение - побыть тут два дня и, может быть, еще два дня после этого!

На четвертый день моего пребывания в лазарете меня как раз определили в ночную смену, когда вошел главврач и попросил меня согласиться пойти врачом в другой лагерь, где была эпидемия тифа. Вопреки настоятельным уговорам моих друзей (и несмотря на то, что почти никто из моих коллег не предложил свои услуги), я решил пойти. Я знал, что на общих работах долго не протяну. И если мне суждено было умереть, то на новом месте в моей смерти был бы хоть какой-то смысл. Я подумал, что несомненно более целесообразно попытаться помочь моим сотоварищам как врач, чем прозябать здесь и в конце концов умереть непроизводительным рабочим.

Для меня это был простой математический расчет, а не самопожертвование. Однако старшина санитарного отделения отдал секретное распоряжение "позаботиться" о нас, двух докторов, которые записались добровольцами в тифозный лагерь. Мы выглядели так плохо, что он боялся вместо двух врачей получить на руки два трупа.

Я ранее упоминал, как все, непосредственно не связанное с задачей сохранить в живых себя и ближайших друзей, теряло свое значение. Этой задаче приносилось в жертву все. Личность человека была подвержена такому давлению, что это искажало ее и угрожало всем ее жизненным ценностям, подвергая их сомнению. Под влиянием мира, который больше не признавал ценности человеческой жизни и человеческого достоинства, который отнял у человека его волю и сделал его объектом уничтожения (собираясь, однако, сначала использовать его до дна - до последней капли его физических ресурсов) - под таким влиянием личное эго (Я) в конце концов терпело крах своих ценностей. Если человек в концлагере из последних сил не боролся за то, чтоб сохранить свое самоуважение, он терял чувство себя как индивида, разумного существа, обладающего внутренней свободой и личной ценностью. Он думал о себе только как о частичке огромной массы; его существование опускалось до уровня животной жизни. Людей гоняли как стадо - то в одно место, то в другое; иногда - всех вместе, иногда поодиночке, как овец в стаде, не обладающих ни собственным разумом, ни собственной волей. Небольшая, но опасная свора

сторожей, поднаторевших в пытках и садизме, окружала их со всех сторон. Они гоняли стадо туда и сюда, с помощью криков, толчков и ударов. А мы, овцы, думали только о двух вещах - как уклониться от злых псов, и как получить немного пищи.

Точно как овцы, которые теснятся к середине стада, каждый старался попасть в середину колонны. Это давало шанс избежать ударов конвойных, которые шли по обе стороны, впереди и позади колонны. Положение внутри колонны давало еще одно преимущество - защиту от злого ветра. В попытке спасти свою жизнь люди старались буквально нырнуть в толпу, причем при формировании колонны это происходило чисто автоматически. А иногда это было совершенно сознательным усилием с нашей стороны - в соответствии с одним из самых повелительных законов самосохранения: не быть заметным. В любом случае, мы старались не привлекать к себе внимания эсэсовцев.

Конечно, иногда бывало возможно, и даже необходимо, уединиться от толпы. Хорошо известно, что в вынужденной совместной жизни, когда все, что ты делаешь, попадает в поле чужого внимания, может возникнуть неодолимая потребность уединиться, по крайней мере на короткое время. Заключение жаждет побыть наедине с собой и своими мыслями; он жаждет хоть капли частной жизни и одиночества. После моего перевода в так называемый "лагерь отдыха" я получил редкую возможность уединиться хотя бы на пять минут. За бараком, где я работал, в котором теснилось около пятидесяти горячечных больных, было тихое местечко в углу двойной изгороди из колючей проволоки, окружающей лагерь. Там был сооружен навес из нескольких жердей и веток, чтобы укрывать полдюжины трупов (ежедневная смертность в лагере). Еще там был колодец, ведущий к водопроводным трубам. Я садился на корточки на его деревянную крышку, когда не было нужды в моих услугах. Я просто сидел и смотрел на зеленые цветущие склоны и далекие синие холмы баварского ландшафта в оправе из колючей проволоки. Я мечтал и тосковал, и мои мысли устремлялись на север и северо-восток, в направлении дома, но в той стороне видны были только тучи.

Мне не мешали лежащие рядом трупы, кишевшие вшами. Только шаги проходящих мимо охранников могли пробудить меня от мечтаний, или меня могли позвать из лазарета, или надо было получить партию лекарств - обычно 5 - 10 таблеток аспирина, которых должно было хватить на несколько дней для пятидесяти больных. Я принимал лекарства и потом совершал обход, проверяя пульс и давая полтаблетки в серьезных случаях. Но безнадежные больные не получали таблеток. Лекарства уже не могли им помочь, и их следовало сохранить для тех, для кого еще была некоторая надежда. Для легких случаев у меня не было ничего, кроме слов ободрения. Так я тащился от пациента к пациенту, хотя сам был слаб и изнурен серьезным приступом тифа. Потом я возвращался на то же уединенное место - на деревянную крышку водопроводной шахты.

Между прочим, эта шахта однажды спасла жизнь трем моим сотоварищам-заключенным. Незадолго до освобождения была организована массовая переброска в Дахау, и эти трое мудро решили обойтись без этого путешествия. Они спустились в шахту и спрятались там от охранников. Я спокойно сидел на крышке и с невинным видом бросал камешки, стараясь попасть в колючую проволоку. Заметив меня, охранник заколебался на минуту, но потом прошел дальше. Скоро я мог уже сказать тем троем внизу, что худшая опасность миновала.

Стороннему человеку очень трудно понять, как мало ценилась человеческая жизнь в лагере. Даже закаленные обитатели лагеря чувствовали, до какой крайней степени доходит это пренебрежение, когда организовывался транспорт больных. Их истощенные тела кидали на двухколесные телеги, которые за много миль, часто сквозь метель, заключенные тащили в соседний лагерь. Если кто-нибудь из больных умирал еще до отправки, его мертвое тело все равно кидали в телегу - список должен был сойтись! Список был единственной вещью, которая имела значение. Человека учитывали по его тюремному номеру. Он буквально сам становился номером; мертвый или живой - это уже было неважно: жизнь "номера" совершенно ничего не значила. Что стояло за этим номером и за этой жизнью - судьба, история, имя человека, - значило еще меньше. В одном транспорте больных, который я, в должности доктора, должен был сопровождать из одного баварского лагеря в другой, был молодой парень, чей брат не был в списке и поэтому должен был остаться. Он так долго умолял надзирателя, что тот решился сделать подмену, и брат занял место человека, который в этот момент предпочел остаться. Но список должен был сойтись! Это было легко устроить. Брат просто поменялся номером с оставшимся.

Как я упоминал раньше, у нас не было документов. Каждый был рад владеть хотя бы собственным телом, которое, в конце концов, все еще дышало. Все остальное, что у нас было, то-есть лохмотья, висящие на наших изможденных скелетах, представляли интерес только тогда, когда нас определяли в транспорт больных. Отбывающих "мусульман" осматривали с беззастенчивым интересом: не лучше ли их куртки и башмаки, чем свои собственные. В конце концов, их судьба уже была решена. Но те, кто оставался в лагере, еще были способны кое-как работать, и должны были любой ценой повысить свои шансы на выживание. Сантиментам тут не было места. Заключенные знали, что судьба их полностью зависит от настроения охранников, и это делало их еще менее людьми, чем того требовали обстоятельства.

В Освенциме я установил себе правило, которое оказалось полезным, и которому потом следовали многие из моих товарищей. Я правдиво отвечал на любые вопросы, но умалчивал обо всем, о чем меня прямо не спрашивали. Если спрашивали о моем возрасте, я его называл. Если спрашивали о профессии, я говорил "доктор", но не уточнял, какой. В первое утро в Освенциме на площадь построений пришел эсэсовский офицер и начал нас сортировать: мы были разделены на группы: до сорока лет, после сорока лет; специалисты по обработке металла, механики и т.д. Потом нас проверили на грыжу, и образовалась новая группа. Моя группа была приведена в другой барак, где нас опять выстроили. После того как нас рассортировали еще раз, и после того, как я ответил на вопросы о моем возрасте и профессии, меня послали в другую маленькую группу. Все это тянулось долго, и я совсем пал духом, очутившись среди незнакомцев, говорящих на непонятных языках. Потом была последняя селекция, и я опять очутился в группе, которая была со мной в первом бараке! Они, кажется, и не заметили, что меня перекидывали из барака в барак. Но мне было ясно, что за это время моя судьба менялась много раз.

Когда формировался транспорт больных в "лагерь отдыха", мое имя (то-есть мой номер) было занесено в список, так как там были нужны врачи. Но никто не был уверен, что местом назначения действительно является лагерь отдыха. Несколько недель назад этот транспорт уже должен был отправиться.

Тогда тоже все считали, что он направляется в газовые камеры. Когда объявили, что каждый, кто пойдет добровольцем в страшную ночную смену, будет вычеркнут из списка, восемьдесят два человека немедленно согласились. Через четверть часа транспорт был отменен, но эти восемьдесят два человека остались в списке ночной смены. Для большинства из них это означало смерть в ближайшие две недели.

И вот транспорт в лагерь отдыха организовали во второй раз. Опять никто не знал, было ли это уловкой, чтобы выжать из больных последние капли сил, пойдет ли транспорт в газовые камеры или в настоящий лагерь отдыха. Главврач, который был ко мне благосклонен, сказал мне украдкой, в четверть десятого вечера: "Мне дали понять в канцелярии, что вас еще можно вычеркнуть из списка. Это можно сделать до десяти."

Я сказал ему, что это не в моих правилах; что я научился предавать себя в руки судьбы. "Я мог бы и остаться со своими друзьями," - сказал я. В его глазах промелькнула жалость, как будто он что-то знал. Он молча пожал мне руку, как будто это было прощание не на всю жизнь, а прощание с моей жизнью. Я медленно пошел в свой барак. Там меня ждал близкий друг. Он грустно спросил меня: "Ты действительно хочешь отправиться с ними?"

"Да, я отправляюсь."

На его глаза навернулись слезы, и я попытался утешить его. Но мне надо было успеть еще одну вещь - сделать завещание.

"Послушай, Отто, если я не вернусь домой к своей жене, и если ты увидишь ее, расскажи ей, что я говорил о ней каждый день и каждый час. Ты это помнишь. Второе - я любил ее больше, чем кого-либо другого. Третье - то краткое время, что я был женат на ней, перевешивает все, даже то, через что мы тут прошли."

Отто, где ты? Жив ли ты? Что происходило с тобой после нашего последнего часа вместе? Нашел ли ты снова свою жену? И помнишь ли ты, как я заставил тебя выучить мое завещание наизусть - слово в слово, хоть ты и плакал как ребенок?

Следующим утром я отправился с транспортом. На этот раз обмана не было. Нас не отправили в газовые камеры, мы действительно попали в лагерь отдыха. Те, кто оплакивали меня, остались в лагере, где вскоре наступил еще более свирепый голод. Они пытались спастись, но вместо этого только подписали себе приговор. Через несколько месяцев, уже после освобождения, я встретил одного человека из старого лагеря. Он рассказал мне, как он, в качестве лагерного полицейского, разыскивал кусок человеческого мяса, вырезанный из трупа. Он конфисковал его из горшка, в котором его варили. Люди дошли до каннибализма. Я вовремя покинул тот лагерь.

Разве это не напоминает историю о Смерти в Тегеране? Богатый и могущественный перс гулял в своем саду в сопровождении слуги. Вдруг слуга закричал, что увидел свою Смерть, которая угрожала ему. Он умолял своего хозяина дать ему самую быструю лошадь, чтобы он мог сбежать в Тегеран, до которого можно было добраться тем же вечером. Хозяин согласился, и слуга тотчас ускакал. Вернувшись в дом, хозяин сам увидел Смерть и спросил ее: "Зачем ты напугала своими угрозами моего слугу?" "Я ему не угрожала, а лишь удивилась, что он еще тут, когда я собираюсь встретиться с ним в Тегеране," - сказала Смерть.

Обитатели лагеря боялись принимать решения или проявлять любую инициативу. Это было следствием убеждения, что человеком распоряжается

судьба, и что не следует никак на нее влиять, а надо предаваться в ее руки. К тому же чувствами заключенного владела сильная апатия. Иногда следовало принимать мгновенное решение, от которых могла зависеть жизнь или смерть. Заключенный предпочитал, чтобы выбор за него сделала судьба. Это стремление избежать ответственности проявлялось очевиднее всего, когда надо было принять решение о попытке бегства. В эти минуты, когда надо было решиться - а это всегда были считанные минуты - он испытывал адские муки. Должен ли он попытаться? Следует ли идти на риск?

Я тоже пережил эти мучения. Когда фронт приблизился, мне подвернулся удобный случай для побега. Мой коллега, который в ходе исполнения своих врачебных обязанностей должен был посещать бараки вне лагеря, решил сбежать и предложил взять меня с собой. Под предлогом медицинской консультации, где требовался совет специалиста, он вывел меня из лагеря. Боец иностранного движения сопротивления взялся снабдить нас военной формой и документами. В последний момент возникли какие-то технические затруднения, и нам пришлось снова вернуться в лагерь. Однако мы воспользовались нашей экскурсией, чтобы обеспечить себя провизией (несколькими гнилыми картофелинами) и поискать рюкзаки.

Мы проникли в пустой барак женского лагеря, где никого не было - женщин перевели в другой лагерь. В бараке был большой беспорядок: повидимому, многие женщины воспользовались суматохой и сбежали. Там валялись тряпки, солома, испорченная еда и разбитая посуда. Некоторые миски были в хорошем состоянии и могли бы нам очень пригодиться, но мы решили их не брать. Мы знали, что в последнее время, когда условия жизни стали совсем отчаянными, их использовали не только для еды, но и для мытья и как ночные горшки. (Было строго запрещено держать такие вещи в бараке. Однако приходилось нарушать это правило, особенно тифозным больным, которые были слишком слабы, чтобы выйти из барака даже с чужой помощью.) Пока я служил прикрытием, мой приятель вошел в барак и быстро вернулся с рюкзаком, который он спрятал под куртку. Мы поменялись местами, и я вошел. Пока я рылся в хламе, где нашел рюкзак и даже зубную щетку, я внезапно увидел среди всего беспорядка труп женщины.

Вернувшись в свой лагерь, я кинулся обратно в свой барак, чтобы собрать все свое имущество: миску для еды, пару рваных рукавиц, "унаследованных" от умершего тифозного больного, и несколько клочков бумаги, покрытых стенографическими значками (на которых я начал восстанавливать рукопись, потерянную в Освенциме). Я совершил быстрый последний обход моих пациентов, лежавших на гнилых досках вдоль стен барака. Я подошел к моему единственному земляку, который был близок к смерти, но для меня было делом чести спасти его, вопреки его состоянию. Мне приходилось скрывать, что я собираюсь бежать, но мой товарищ как будто почувствовал что-то необычное (видимо, я заметно нервничал). Слабым голосом он спросил меня: "Ты тоже уходишь?" Я уверял, что нет, но мне трудно было выдержать его грустный взгляд. После обхода я вернулся к нему. Опять меня встретил взгляд, полный безнадежности, и я уловил в нем обвинение. Неприятное чувство, охватившее меня, когда я согласился бежать со своим коллегой, еще усилилось. Внезапно я решил на этот раз взять судьбу в свои руки. Я выбежал из барака и сказал приятелю, что не могу пойти с ним. Как только я решительно сказал ему, что остаюсь с моими пациентами, неприятное чувство покинуло меня. Я не знал, что нам готовит будущее, но почувствовал внутренний покой, которого никогда раньше не испытывал. Я вернулся в барак, сел на доски у ног своего земляка и попытался утешить его; потом поговорил с другими, стараясь облегчить их горячее

состояние.

Настал наш последний лагерный день. Когда стал приближаться фронт, массовые транспорты перевезли почти всех заключенных в другие лагеря. Лагерные власти, капо и повара сбежали. В этот день был пришел приказ полностью эвакуировать лагерь до темноты. Даже немногие оставшиеся заключенные (больные, несколько докторов и медбратьев) должны были покинуть лагерь. Ночью его должны были сжечь. В полдень грузовики, высланные за больными, еще не прибыли. Внезапно ворота лагеря накрепко закрыли и стали строго следить, чтобы никто не сбежал. Похоже было, что оставшимся заключенным предстоит сгореть вместе с лагерем. Мы с приятелем снова решили бежать.

Нам велели похоронить троих умерших в тот день за забором из колючей проволоки. Мы были единственными заключенными в лагере, у которых было для этого достаточно сил. Почти все остальные лежали в бараках, обессиленные лихорадкой и горячкой. Мы составили план: вместе с первым телом мы пронесем рюкзак моего приятеля, спрятав его под трупом в старом корыте, которое служило гробом. Вместе со вторым телом мы вынесем и мой рюкзак, а после третьего рейса сбежим. Первые два рейса прошли по плану. Мы вернулись в лагерь, и я стал ждать приятеля, который пошел искать лопоту хлеба, чтобы было на чем продержаться несколько дней в лесу. Я ждал. Минуты шли. Я все больше терял терпение - мой приятель не возвращался. После трех лет заключения я радостно рисовал себе свободу, представляя себе, как здорово будет бежать в сторону фронта. Но до этого дело не дошло.

В тот момент, когда мой приятель вернулся, ворота лагеря распахнулись. Великолепная серебристая машина с большими красными крестами медленно въехала на площадь построений. Прибыл представитель Международного Красного Креста из Женевы и объявил, что лагерь и его обитатели находятся под его защитой. Этот представитель расположился в сельском доме по соседству, чтобы быть около лагеря на случай каких-нибудь чрезвычайных происшествий. Кто сейчас мог думать о бегстве? Из машины выгрузили ящики с лекарствами, стали раздавать сигареты, и воцарилась всеобщая радость. Уже не было необходимости с риском бежать по направлению к фронту.

В нашем возбуждении мы чуть не забыли о третьем теле; наконец мы его вынесли и положили в узкую могилу, рядом с остальными двумя. Охранник, который сопровождал нас - человек относительно безобидный - внезапно стал крайне любезен. Он понял, что мы можем поменяться ролями, и постарался завоевать наше расположение. Он присоединился к кратким молитвам, которые мы прочли над умершими, прежде чем засыпать их землей. После напряжения и возбуждения последних дней и часов, когда мы бежали наперегонки со смертью, слова нашей молитвы, просившие о мире, были горячи, как ни одна молитва, произнесенная когда-нибудь устами человека.

Так, в предвкушении свободы, проходил наш последний день в лагере. Но мы слишком рано радовались. Представитель Красного Креста уверил нас, что соглашение подписано и что лагерь не будет эвакуирован. Но этой же ночью явились эсэсовцы с грузовиками, и с приказом очистить лагерь. Последних оставшихся заключенных должны были перевести в центральный лагерь, откуда их перешлют в Швейцарию в течение 48 часов в обмен на каких-то военнопленных. Мы едва узнавали эсэсовцев. Они были так дружелюбны, убеждая нас не бояться и залезть на грузовики, и приговаривая, что мы должны быть благодарны судьбе за такое везение. Те, у кого хватило сил, сами взобрались на грузовики; слабых с трудом подняли. Мой приятель и я - мы уже не прятали наших рюкзаков - стояли в последней группе, из которой 13 человек было отобрано в

предпоследний грузовик. Главврач вызвал 13 человек, но пропустил нас двоих. Мы остались. Удивленные, очень обеспокоенные и разочарованные, мы стали упрекать главврача; он извинялся, говоря, что очень устал и был рассеян. Он думал, что мы все еще намерены бежать, В нетерпении мы сели на землю, не снимая рюкзаков со спины, и стали ждать последнего грузовика вместе с оставшимися заключенными. Нам пришлось ждать долго. В конце концов мы улеглись на матрацы в опустевшем помещении охранников, измученные возбуждением последних дней и часов, в течение которых нас непрерывно бросало от надежды к отчаянию. Мы спали в одежде и обуви, готовые к путешествию.

Нас разбудили звуки выстрелов из ружей и орудий; в окна проникал отблеск вспышек и трассирующих пуль. Главврач вбежал в барак и приказал лечь на пол. Один заключенный спрыгнул в башмаках прямо мне на живот, и это меня разбудило окончательно. Теперь мы поняли, что происходит: фронт добрался до нас! Стрельба утихла, и наступило утро. На мачте у ворот лагеря развевался на ветру белый флаг.

Несколько недель спустя мы обнаружили, что судьба играла нами даже в эти последние часы. Мы узнали, насколько ненадежны бывают человеческие решения, особенно когда дело идет о жизни и смерти. Мне показали фотографии, снятые в маленьком лагере недалеко от нас. Наши друзья, которые думали, что едут на свободу, были перевезены в этот лагерь, заперты в бараках и сожжены. Их наполовину обугленные тела можно было узнать на фотографиях. Я снова вспомнил Смерть в Тегеране.

Апатия у заключенных, развивавшаяся как защитный механизм, возникала и в результате других факторов. Ей способствовали голод и недосыпание (как и в нормальной жизни), которые вызывали и общую раздражительность, которая была еще одной характеристикой душевного состояния заключенных. Мы недосыпали частично из-за того, что нас донимали паразиты, наводнявшие страшно перенаселенные бараки при полном отсутствии санитарии и гигиены. У нас не было ни никотина, ни кофеина, и это тоже способствовало состоянию апатии и раздражительности.

Кроме этих физических причин, были еще и душевные, в форме некоторых комплексов. Большинство заключенных страдало родом комплекса неполноценности. Мы все когда-то были и воображали себя "Кем-то". Сейчас с нами обращались как с полным "ничто". (Осознание внутренней ценности личности коренится в более высоких духовных сферах и не может быть поколеблено лагерной жизнью. Но как много свободных людей, не говоря о заключенных, обладают им в полной мере?) Даже не размышляя об этих вещах сознательно, средний заключенный чувствовал себя крайне униженным. Это становилось очевидным при наблюдении над контрастами своеобразной социологической структуры лагеря. Наиболее "высокопоставленные" заключенные - капо, повара, кладовщики и лагерные полицейские - совершенно не чувствовали себя униженными, как большинство остальных, а, наоборот, "повышенными в звании"! У некоторых даже развивалась миниатюрная мания величия. Душевная реакция ревнивого и недовольного большинства находила выражение в разной форме, иногда в иронии. Например, я слышал, как один заключенный говорил другому об одном капо: "Представь себе, я знал этого человека, когда он был всего лишь директором крупного банка. Как ему

повезло, что он поднялся сейчас до такого высокого положения!"

Когда униженное большинство и выдвинувшееся меньшинство сталкивались в конфликте (а для этого было множество поводов, начиная с распределения еды), последствия бывали взрывоопасными. Общая напряженность (физические причины которой обсуждались выше) становилась еще сильнее, и иногда она разрешалась всеобщей дракой. Так как заключенные постоянно были свидетелями и жертвами побоев, это понижало порог перехода к насилию. Я сам чувствовал, как сжимались мои кулаки, когда меня охватывал гнев, а я был голоден и устал. Обычно я бывал очень утомлен, так как мне приходилось всю ночь поддерживать огонь в нашей печке - она была разрешена в бараке для тифозных больных.

Однако некоторые из самых идиллических часов, которые я когда-нибудь проводил, были эти часы глубокой ночью, когда все остальные спали или бредили. Я мог лежать, растянувшись перед огнем, и печь несколько украденных картофелин на огне, в котором горел украденный уголь. Но на следующий день я всегда чувствовал себя еще более усталым, равнодушным и раздражительным.

Одно время, работая врачом в тифозном блоке, я должен был замещать заболевшего старшего надзирателя. В этой должности я отвечал перед лагерными властями за поддержание чистоты в бараке - если слово "чистота" подходило к тем условиям. Целью инспекции, которой часто подвергался барак, было скорее найти повод для наказания, чем поддержать соблюдение гигиены. Реальной помощью было бы лучшее питание и немного лекарств, но единственное, о чем заботились инспектора, был порядок - чтобы нигде не валялось ни соломинки и чтобы грязные, рваные, полные паразитов одеяла больных были аккуратно подвернуты у их ног. Судьба больных их не интересовала. Если я браво докладывал, сорвав тюремную шапку с обритой головы и пристукнув каблуками: "Барак номер VI дробь 9; 52 пациента, два санитары и один врач", они были удовлетворены и уходили. Но до их прихода - часто часами позже, чем было объявлено, а иногда они вообще не приходили, - я был вынужден приводить в порядок одеяла, подбирать соломинки, упавшие с нар, и прикрикивать на бедняг, которые металась в жару и угрожали свести насмарку все мои старания. Апатия особенно одолевала лихорадящих больных, которые вообще не реагировали, если на них не кричали. Иногда и крик не действовал, и мне стоило огромного усилия и самообладания не ударить их. Моя раздражительность возрастала до предела из-за апатии больных и ожидания опасности со стороны инспекции.

Пытаясь дать психологическую картину и психопатологическое объяснение типичных характеристик обитателей концлагеря, я рискую создать впечатление, что человеческое бытие полностью и неизбежно подпадает под влияние среды. (В данном случае окружающая среда - это особая структура лагерной жизни, которая заставляет заключенного приспособить свое поведение к определенному стереотипу.) А как же насчет человеческой свободы? Разве нет духовной свободы в смысле поведения и реакции на любое данное поведение? Является ли верной теория, согласно которой человек - не более чем продукт многих факторов, будь они биологической, социальной или психологической природы? И самое важное, доказывают ли реакции заключенных на особый мир концлагеря, что человек не может спастись от влияния своего окружения? Может ли человек перед лицом таких обстоятельств обладать свободой выбора своих действий?

Мы можем ответить на эти вопросы, исходя и из опыта, и из принципов.

Опыт

лагерной жизни показывает, что у человека есть свобода выбора. Было

достаточно примеров, часто героических, которые доказали, что можно преодолеть апатию, подавить раздражительность. Человек может сохранить остатки духовной свободы и независимости мышления даже в условиях крайнего психического и физического напряжения.

Мы, прошедшие концлагеря, можем вспомнить людей, которые ходили по баракам, утешая других и подчас отдавая последний кусок хлеба. Пусть их было немного, они служат достаточным доказательством: у человека можно отнять все, кроме одного - его последней свободы: выбрать свое отношение к любым данным обстоятельствам, выбрать свой собственный путь.

А выбирать надо было все время. Каждый день, каждый час представлялся случай принять решение, которое определяло, будете вы или нет покорны силам, угрожающим лишить вас самого себя, вашей внутренней свободы; будете вы или нет игрушкой обстоятельств, откажетесь ли от своего достоинства, чтобы втиснуться в стереотип лагерника.

С этой точки зрения душевные реакции узников концлагеря должны значить для нас больше, чем простое отражение определенных физических и социальных условий. Даже если такие тяжкие условия, как недосыпание, недоедание и разнообразные душевные напряжения и создают предпосылки для того, чтобы узники реагировали определенным образом, при конечном анализе становится ясным, что та личность, которой становится заключенный, является результатом внутреннего решения, а не только результатом влияния лагеря. Так что по существу каждый может, даже в таких условиях, как лагерные, решать, каким он станет умственно и духовно. Он может сохранить свое человеческое достоинство даже в концлагере. Достоевский как-то сказал: "Есть только одно, чего я боюсь: быть недостойным своих страданий." Эти слова часто приходили мне в голову, когда я встречался с мучениками, поведение которых в лагере, их страдания и смерть доказывали, что последняя внутренняя свобода не может быть потеряна. Они были достойны своих страданий, ибо то, как они их переносили, было подлинным внутренним подвигом. Именно эта духовная свобода, которую невозможно отобрать, придает жизни смысл и цель.

Цель активной жизни - дать человеку возможность реализовать свои ценности в творческой работе, в то время как пассивная жизнь, посвященная наслаждениям, дает ему возможность получить удовлетворение в познании красоты, искусства и природы. Но есть смысл и в той жизни, что почти полностью лишена возможности творчества и наслаждения, и которая допускает только одну возможность поведения на высоком моральном уровне: оно выражается в отношении человека к своему существованию, ограниченному внешними силами. Творчество и наслаждение у него отняты. Но не только творчество и наслаждение имеют смысл. Если в жизни вообще есть смысл, то должен быть смысл и в страдании. Страдание - неотделимая часть жизни, как судьба и смерть. Без страдания и смерти человеческая жизнь не может быть полной.

То, как человек принимает свою судьбу и доставленные ею страдания, то, как он несет свой крест, дает ему полную возможность - даже в самых тяжелых обстоятельствах - придать более глубокий смысл своей жизни. Он может остаться мужественным, полным достоинства и бескорыстным. Или в жесточайшей битве за самосохранение он может забыть свое человеческое достоинство и стать не более чем животным. Здесь у человека есть шанс либо воспользоваться этой возможностью, либо забыть о ней. И это решает, будет ли он достоин своих страданий или нет.

Не думайте, что эти рассуждения - не от мира сего и слишком далеки от реальной жизни. Верно, что лишь немногие люди способны достичь таких высоких

моральных стандартов. Только немногие из заключенных сохранили полную внутреннюю свободу и обрели те ценности, которыми их обогатили страдания. Но даже один такой пример является достаточным доказательством, что внутренняя сила человека может поднять его над внешней судьбой. Такие люди есть не только в концлагерях. Над человеком всегда висит рок, и может дать ему горькую возможность достигнуть чего-то через страдание.

Обратимся к судьбе больных - особенно неизлечимых. Я читал однажды письмо, написанное молодым инвалидом своему другу; он только что узнал, что ему осталось жить недолго, и даже операция ему не поможет. Далее он пишет, что он давно видел фильм об обреченном человеке, который ждал смерти мужественно и достойно. Тогда он подумал, какое это большое достижение - так встретить смерть. Теперь - пишет он - судьба дала ему такой же шанс.

Те из нас, которые видели фильм под названием "Воскресение" - по роману Толстого (действие происходит много лет назад) могли подумать о том же. Там были великие судьбы и великие люди. Для нас, в наше время, нет великих судеб, нет возможности достичь такого величия. Зайдя после кино в ближайшее кафе, над чашкой кофе и бутербродом мы забываем странные метафизические мысли, которые на минуту пришли нам в голову. Но когда мы сами встречаемся с великим предназначением, и нам предстоит решить - выйти ли ему навстречу с равным ему духовным величием - тогда мы можем забыть нашу юношескую решимость и потерпеть неудачу.

Может быть, некоторые из нас теперь снова увидят этот этот фильм, или похожий на него. Но тогда перед нашим внутренним взором одновременно возникнут другие повести - о людях, которые поднялись в своей жизни гораздо выше, чем может показать сентиментальный фильм. Я расскажу простую историю о молодой женщине, свидетелем смерти которой я был в лагере. Может показаться, что я ее выдумал, но это правда; для меня в этой истории заключена чистая поэзия.

Эта женщина знала, что умрет в ближайшие дни. Но несмотря на это, она разговаривала со мной весело. "Я благодарна судьбе за то, что она меня так тяжело ударила," - сказала мне она. - "В моей прошлой жизни я была избалована и не относилась всерьез к духовным достижениям." Указав на окно барака, она сказала: "Это дерево - единственный друг, который есть у меня в моем одиночестве." - Через окно она могла видеть только ветку каштана и два цветка на ней. - "Я часто говорю с этим деревом." Я был поражен и не знал, как понять ее слова. Может быть, это бред? Может быть, у нее бывают галлюцинации? Я со страхом спросил, отвечает ли ей дерево? - "Да." Что оно ей говорит? Она ответила: "Оно говорит мне - я здесь, - я здесь - я есть жизнь, вечная жизнь."

Мы установили, что в конечном счете состояние внутренней личности заключенного определяется не столько приведенными выше психофизическими причинами, сколько его свободным решением. Психологические наблюдения над заключенными показали, что только те, кто отказался от внутренней власти над своей моральной и духовной сущностью, со временем стали жертвами унижающего влияния лагеря. Но тогда встает вопрос, что может и должно составлять эту "внутреннюю власть"?

Бывшие заключенные, рассказывая о пережитом, признают, что тяжелее всего было следующее обстоятельство: заключенный не мог знать, сколько продлится его заключение. Ему не сообщали ни срока, ни даты освобождения. (В нашем лагере было бессмысленно даже говорить об этом.) Действительно, срок

заклучения был не только неопределен, но просто неограничен. Известный психолог-исследователь указывал, что жизнь в концлагере можно назвать "условным существованием". Мы можем прибавить к этому определению: "условное существование с неизвестным пределом".

Новоприбывшие обычно не знали ничего об условиях жизни концлагеря. Те, кому посчастливилось вернуться из лагерей, обязаны были хранить молчание, а из некоторых лагерей не вернулся никто. При попадании в лагерь в голове все менялось. С концом неопределенности приходила неопределенность конца. Было вообще невозможно предвидеть, когда кончится эта форма существования.

Латинское слово *finis* имеет два значения: одно - конец или финиш; другое - цель, которую надо достичь. Человек, который не знал конца своего "условного существования", не был способен стремиться к конечной цели в жизни. Он переставал жить для будущего, в противоположность человеку в нормальных условиях. Поэтому изменяется вся структура его внутренней жизни; появляются признаки распада, известные нам из других сфер жизни. Безработный, например, находится в сходном положении. Его существование тоже стало условным; в определенном смысле он не может жить ради будущего или стремиться к цели. Исследования психики безработных шахтеров показали, что они страдают своеобразным видом деформации времени - внутреннего времени, и что это следствие их положения безработного. Заключенные тоже страдали этим странным ощущением времени. В лагере маленькая единица времени, например, день, наполненный ежедневными муками и усталостью, тянется бесконечно. Более крупная единица, скажем неделя, кажется пролетевшей очень быстро. Мои товарищи согласились со мной, когда я сказал, что в лагере день длится больше, чем неделя. Каким парадоксальным было наше ощущение времени! В этой связи мы вспомнили о Волшебной горе Томаса Манна, в которой есть очень точные психологические замечания. Манн исследует духовное развитие людей, которые находятся в аналогичном психологическом положении; это туберкулезные больные в санатории, которые тоже не знают даты своего освобождения. Они переживают сходное существование - без будущего и без цели.

Один из заключенных, который, прибыв в лагерь, шел в длинной колонне от станции, сказал мне позже, что чувствовал себя так, как будто шел за гробом на собственных похоронах. Он считал, что для него все кончено, как будто он уже умер. Это ощущение, что жизнь кончилась, усиливали и другие обстоятельства: в смысле времени - неограниченность срока заключения, что воспринималось наиболее остро; в смысле пространства - тесные пределы тюрьмы. Все, что было по ту сторону колючей проволоки, стало отдаленным - недоступным и в какой-то мере нереальным. События и люди вне лагеря, вся нормальная жизнь там казалась призрачной. Она выглядела так, как может выглядеть земная жизнь для мертвого человека, который смотрит на нее из загробного мира.

Человек, который позволяет себе опуститься потому, что не может видеть никакой будущей цели, оказывается занятым мыслями о прошлом. Мы уже говорили о тенденции смотреть в прошлое в другом аспекте - когда это помогает сделать настоящее, со всеми его ужасами, менее реальным. Но в отвлечении от реальности имеется определенная опасность. Тогда человеку легко упустить ряд случаев, позволяющих сделать из лагерной жизни нечто позитивное, а такие случаи действительно представлялись. Само отношение к нашему "условному существованию" как к нереальному было сильным фактором, из-за которого заключенный переставал держаться за жизнь: это казалось бессмысленным. Такие люди забывали, что лагерь - это просто исключительно трудная внешняя ситуация, которая предоставляет человеку возможность духовного роста. Вместо

того чтоб воспринимать тяжести лагеря как экзамен для своей внутренней силы, они не принимали всерьез свою жизнь и презирали ее как нечто несущественное. Они предпочитали закрыть глаза и жить в прошлом. Для таких людей жизнь становилась бессмысленной.

Естественно, только немногие были способны подняться до великих духовных высот. Но этим немногим был дан шанс обрести человеческое величие в своих видимых земных неудачах и даже смерти, чего они в обычных обстоятельствах никогда бы не достигли. К остальным из нас, заурядным и нерешительным, применимы слова Бисмарка: "Жизнь - это как посещение дантиста. Мы все время думаем, что самое худшее впереди, и вот все уже кончилось." Варьируя это высказывание, можно сказать: большинство людей в концлагере считали, что реальные возможности в жизни уже позади. И все же на самом деле была такая возможность, и был брошен вызов. Можно было одержать духовную победу, обратив лагерное существование во внутренний триумф, или можно было пренебречь вызовом и просто прозябать, как делало большинство заключенных.

Любая попытка бороться с психопатологическим воздействием лагеря на заключенного с помощью психотерапевтических или психогигиенических методов должна стремиться дать ему внутреннюю силу, указывая на цель в будущем, чтоб он мог смотреть вперед. Некоторые из заключенных инстинктивно пытаются найти ее сами. Это исключительная особенность человека, который может жить только глядя в будущее - *sub specie aeternitatis*. И это может его спасти в самые трудные минуты существования, хотя иногда приходится заставлять себя думать об этой задаче.

Вернусь к моему личному опыту. Почти плача от боли (у меня были страшно стертые ноги из-за скверной обуви), я брел в нашей длинной колонне из лагеря к месту работы. Очень холодный и сильный ветер пронизывал нас до костей. Я был занят мыслями о бесконечных проблемах нашей жалкой жизни. Что нам дадут поесть вечером? Если дадут в качестве добавки кусочек колбасы, следует ли обменять его на кусок хлеба? Следует ли отдать последнюю сигарету, которая осталась от премии, полученной месяц назад, за миску супа? Как бы раздобыть кусок проволоки, чтобы заменить обрывок, служивший мне шнурком для ботинок? Успею ли я дойти вовремя, чтоб присоединиться к моей обычной рабочей группе, или мне придется пойти в другую, где бригадиром может оказаться жестокий человек? Как бы установить хорошие отношения с капо, который может помочь получить работу в лагере, чтобы не надо было совершать этот ужасающе длинный ежедневный переход?

Я почувствовал отвращение к такому положению дел, которое вынуждало меня каждый день и каждый час думать только о таких тривиальных вещах. Я заставил свои мысли обратиться к другому предмету. Я увидел себя на кафедре в ярко освещенном, теплом и красивом зале. Передо мной в комфортабельных креслах сидит внимательная публика. Я читаю лекцию о психологии концентрационного лагеря! Все, что давило на меня в этот момент, стало чем-то объективным, рассматриваемое и описываемое с научной точки зрения, отрешенной от переживаний. Этим способом я как-то сумел подняться над ситуацией, над сиюминутными страданиями, и я наблюдал их так, как будто они были уже в прошлом. И я, и мои тревоги и заботы стали предметом интересного психологического научного исследования, проводимого мной самим. Что сказал Спиноза в своей "Этике"? "*Affectus, qui passio est, desinit esse passio simulatque eius claram et distinctam formamur ideam.*" Эмоция, которая

является страданием, перестает быть страданием, как только мы создаем ее ясную и точную картину.

Заключенный, который потерял веру в будущее - свое будущее - обречен. С потерей веры он теряет также и духовную стойкость; он позволяет себе опуститься и стать объектом душевного и физического разложения. Как правило, это происходит совершенно внезапно, в форме кризиса, симптомы которого очень хорошо знакомы опытному узнику лагеря. Мы все боялись этого момента - не у себя, что было бы бессмысленно, но у наших друзей. Обычно это начиналось так: однажды утром заключенный отказывался одеться, умыться и выйти на площадь для построения. Ни просьбы, ни удары, ни угрозы не производили никакого эффекта. Он просто лежал, почти не шевелясь. Если этот кризис сопровождался болезнью, он отказывался перейти в больничный барак или сделать хоть что-нибудь, чтобы себе помочь. Он просто сдавался. Он оставался лежать в собственных нечистотах, и его ничего больше не волновало.

Однажды я наблюдал трагическое проявление связи между потерей веры в будущее и этим опасным отказом от всяких усилий жить. Ф., мой старший надзиратель, очень известный композитор и либреттист, однажды тайно признался мне: "Я хочу рассказать вам кое-что, доктор. У меня был странный сон. Голос сказал мне, что я могу спросить о чем-нибудь; что я должен только сказать, что я хотел бы узнать, и на все вопросы я получу ответ. Что, по-вашему, я спросил? Я хочу знать, когда для меня кончится война. Вы понимаете, доктор, просто для меня! Я хотел узнать, когда мы, наш лагерь, будет освобожден и наши мучения кончатся."

"И когда у вас был этот сон?" - спросил я.

"В феврале 1945-го" - ответил он. Было начало марта.

"И что ответил голос в вашем сне?"

Он украдкой шепнул: "30-го марта."

Когда Ф. рассказал мне свой сон, он был все еще полон надежды и уверен, что голос во сне сказал ему правду. Но когда обещанный день стал приближаться, то по вестям с фронта, которые доходили до нашего лагеря, стало ясно, что навряд ли наш лагерь будет освобожден к обещанному сроку. 29-го марта Ф. внезапно заболел, сильно поднялась температура. 30-го марта, когда, по предсказанию, война и страдания для него должны были кончиться, у него начался бред, и он потерял сознание. 31-го марта он скончался. Внешне все выглядело, будто он умер от тифа.

Тот, кто знает, насколько тесна связь душевного состояния человека с состоянием его телесного иммунитета, поймет, что внезапная потеря надежды и мужества может иметь смертельное воздействие. Настоящая причина гибели моего друга - то, что ожидаемое освобождение не наступило, и он был глубоко разочарован. Сопrotивляемость его тела дремавшей в нем тифозной инфекции резко понизилась. Вера в будущее и воля к жизни были парализованы, и тело стало жертвой болезни - и таким образом голос в его сне в конце концов оказался прав, его мучения кончились.

Это наблюдение и выводы из него согласуются еще с одним фактом, к которому привлек мое внимание наш главврач. Смертность в лагере в течение недели между Рождеством 1944 г. и Новым Годом 1945 г. сильно подскочила по сравнению с обычной. По его мнению, объяснение этого резкого скачка не в ухудшении питания или условий работы, и не в изменении погоды или во вспышке

эпидемии. Он произошел просто потому, что большинство заключенных жило наивной надеждой вернуться домой к Рождеству. Когда приблизилось Рождество и не появилось никаких ободряющих известий, мужество их покинуло, и их охватило разочарование. Это оказало опасное влияние на их сопротивляемость, и многие из них умерли.

Как мы уже говорили, чтобы восстановить внутренние силы человека в лагере, необходимо было, во-первых, преуспеть в указании ему какой-то цели в будущем. Слова Ницше: "Тот, кто имеет зачем жить, может вынести почти любое как", могут быть путеводной нитью для всех психотерапевтических и психогигиенических усилий в отношении заключенных. Когда бы ни возникала для этого возможность, надо давать им зачем - цель - для их жизни, чтобы они могли вынести ужасное как их существования. Горе тому, кто больше не видел ни смысла своей жизни, ни цели, ни стремлений, и поэтому ему незачем было переносить ее тяжесть. Он скоро погибал. Типичный ответ, которым такой человек отклонял все ободряющие доводы, был: "Мне уже нечего ждать от жизни." Что можно на это ответить?

Что было действительно необходимо - это коренное изменение нашего отношения к жизни. Мы должны были научиться, и более того, учить отчаявшихся людей, что на самом деле имеет значение не то, что мы ждем от жизни, а то, что жизнь ожидает от нас. Нам нужно было перестать спрашивать о смысле жизни, а вместо этого понять, что жизнь задает вопросы нам, ставит задачи - ежедневно и ежечасно. Наш ответ должен состоять не в разговорах и размышлениях, а в правильных поступках и правильном поведении. В конечном счете жить означает брать на себя ответственность за выбор правильного ответа на проблемы жизни, и выполнять задачи, которые она постоянно дает каждому человеку.

Эти задачи, и следовательно, смысл жизни, - разные для разных людей, они меняются от одного момента к другому. Поэтому невозможно определить смысл жизни вообще. На вопросы о смысле жизни никогда нельзя отвечать огульными утверждениями. "Жизнь" не является чем-то абстрактным и неопределенным, это нечто очень реальное и конкретное, и, точно так же, ее задачи реальны и конкретны. Они составляют судьбу человека, которая различна и уникальна у каждого. Ни человека, ни его судьбу нельзя сравнивать с любым другим человеком и любой другой судьбой. Ни одна ситуация не повторяется, и каждая ситуация требует своего ответа. Иногда ситуация, в которой оказывается человек, требует от него изменить свою судьбу действием, поступком. В других случаях для него более благоприятно воспользоваться возможностью выждать - и это может быть лучшей реакцией. Иногда требуется просто принять судьбу как она есть и нести свой крест. Каждая ситуация уникальна, и всегда есть только один верный ответ на нее.

Когда человек понимает, что его удел - страдать, он должен принять это страдание как свою задачу, свою единственную и уникальную задачу. Он должен понять, что даже в страдании он уникален и один во всей вселенной. Никто не может освободить его, или облегчить его страдание, или взять его на себя.

Единственная его возможность - решить, как он будет нести свое бремя.

Для нас, заключенных, эти мысли не были теорией, оторванной от реальности.

Они были единственными мыслями, которые могли нам помочь. Они удерживали нас от отчаяния, когда казалось, что нет никаких шансов выйти живыми. Давным-давно мы прошли стадию вопросов, в чем смысл жизни, наивные сомнения, когда понимаешь его как достижение каких-то целей путем активного созидания чего-нибудь значительного. Для нас смысл жизни охватывал более

широкий круг жизни и смерти, страдания и умирания.

Когда нам открылся смысл страдания, мы перестали мысленно преуменьшать мучения лагерной жизни, пытаясь их игнорировать, или питать ложные иллюзии и поддерживать искусственный оптимизм. Страдание стало для нас вызовом, от которого мы не хотели отворачиваться. Мы стали понимать скрытые в нем возможности для подвига, возможности, которые заставили поэта Рильке воскликнуть: "Wie viel ist aufzuleiden!" (Как много существует страданий, чтобы справиться с ними!) Рильке говорит о том, чтобы "справиться со страданиями", как другие сказали бы "справиться с работой". У нас не было недостатка в страданиях, так что надо было просто повернуться к ним лицом, стараясь свести моменты слабости и скрытых слез к минимуму. Но слез не следовало стыдиться - они свидетельствовали, что человек обладает самым высоким мужеством - мужеством страдать. Не все это понимали. Только некоторые признавались со стыдом, что плакали, как мой товарищ, который на вопрос, как он избавился от своих отеков, признался: "Они изошли слезами из моего организма".

Хрупкие ростки психогигиены, насколько они были возможны в лагере, были и индивидуальными, и коллективными. Индивидуальные психотерапевтические усилия часто были родом "жизнеспасительной процедуры". Они обычно были связаны с предотвращением самоубийства. В лагере строго запрещались любые попытки спасти человека, который предпринял самоубийство. Например, нельзя было перерезать веревку, на которой он пытается повеситься. Поэтому важно было предотвратить такие происшествия.

Я помню два случая едва не состоявшихся самоубийств, которые поразительно похожи друг на друга. Оба человека говорили о том, что собираются покончить с собой. У обоих был один и тот же довод - им нечего больше ожидать от жизни. В обоих случаях надо было их убедить, что это жизнь еще ждет от них чего-то: кто-то в будущем на них надеется. И действительно - для одного из них это был ребенок, которого он обожал, и который дожидался отца в чужой стране. Другого дожидался не человек, а предмет творчества. Он был ученым, автором серии книг, которую надо было еще закончить. Этого не мог сделать никто другой, так же как никто другой не мог бы стать настоящим отцом обожаемого ребенка.

Эта уникальность и единственность, которая выделяет каждую личность и придает смысл ее существованию, имеет отношение к творчеству настолько же, насколько и к человеческой любви. Когда выясняется, что невозможно заменить одного человека другим, в полной мере проявляется ответственность человека за свое существование и его продолжение. Человек, осознавший свою ответственность перед другим человеческим существом, которое страстно его ждет, или перед незаконченной работой, уже не сможет бросаться своей жизнью. Он знает, "зачем" ему жить, и будет способен вынести почти любое "как".

Естественно, возможности для коллективной психотерапии в лагере были ограничены. Прямой пример бывал эффективнее любых слов. Старший надзиратель блока, который не был на стороне властей, имел массу возможностей, просто своим справедливым и ободряющим обращением с заключенными, оказывать далеко идущее моральное влияние на тех, кто был ему подвластен. Непосредственное влияние поведения всегда более эффективно, чем влияние слов. Но в некоторых случаях слова тоже были эффективны, особенно когда душевная восприимчивость

бывала обострена какими-то внешними обстоятельствами. Я помню, как нам представился такой случай для психотерапевтической работы с обитателями всего барака.

Это был скверный день. На построении нам было объявлено, что с этого момента целый ряд поступков будут рассматриваться как саботаж, и, следовательно, будут немедленно караться смертью через повешение. Среди них были такие преступления, как отрезание узких полосок от наших старых одеял (мы использовали их как повязку для фиксации голеностопа) и совсем незначительные "кражи". За несколько дней до этого полумертвый от голода заключенный взломал склад и украл несколько килограмм картошки. Кража была обнаружена, и несколько заключенных опознали "грабителя". Когда тюремные власти узнали об этом, они приказали выдать им виновного - или весь лагерь будет весь день голодать. Естественно, 2500 человек предпочли поститься.

Вечером этого голодного дня мы лежали в наших бараках-землянках в очень плохом настроении. Разговаривать не хотелось, к тому же каждое слово раздражало. И тут еще, как назло, погас свет. Настроение упало до предела. Но наш старший надзиратель был мудрым человеком. Он сымпровизировал небольшую речь обо всем, о чем мы думали в этот момент. Он говорил о многих из нас, погибших за последние несколько дней либо от болезней, либо покончивших с собой. Но он также упомянул, что, по-видимому, настоящей причиной их смерти была потеря надежды. И он заявил, что должен быть какой-то способ предотвратить хотя бы для остальных опасность дойти до такого крайнего состояния. И он указал на меня, чтобы я дал такой совет.

Видит бог, я был не в состоянии читать лекцию по психологии или произносить проповедь, чтобы предоставить моим сотоварищам какую-то душевную помощь. Я замерз и был голоден, раздражен и устал, но сделал над собой усилие и использовал эту уникальную возможность: сейчас более, чем всегда, надо было подбодрить людей.

И вот я начал с самых тривиальных утешений. Я сказал, что даже в теперешней Европе, в шестую зиму Второй мировой войны, наше положение было не самым ужасным из всех, что можно придумать. Я сказал, что каждый из нас должен спросить себя, какие невозполнимые потери он перенес до сих пор. Я предположил, что для большинства из нас таких потерь было немного. Тот, кто еще жив, имеет основания для надежды. Здоровье, семья, счастье, профессия, состояние, положение в обществе - все это вещи, которые можно восстановить или снова достигнуть. В конце концов, наши кости все еще целы. Опыт, через который мы прошли, может в будущем оказаться очень ценным для нас. И я процитировал Ницше: "Was mich nicht umbringt, macht mich starker." (То, что не убило меня, делает меня сильнее.)

Потом я заговорил о будущем. Я сказал, что если судить хладнокровно, дожить до такого будущего почти нет надежды. Каждый может сам прикинуть, насколько малы его шансы на выживание. Свои собственные шансы я оцениваю как один к двадцати - и это при том, что в лагере пока нет эпидемии тифа. Однако я не собираюсь отказываться от надежды и сдаваться. Потому что ни один человек не знает, что принесет ему следующий день, и даже - следующий час. Даже если нельзя ожидать никаких сенсационных военных событий в ближайшие несколько дней, кто знает лучше, чем мы, с нашим лагерным опытом, как иногда подворачиваются счастливые возможности, совершенно внезапно, по крайней мере для отдельного человека. Например, вас могут неожиданно включить в особую группу с исключительно хорошими условиями работы - "везение" заключенного могло быть именно такого рода.

Но я говорил не только о будущем и о завесе, что его скрывает. Я

упомянул и прошлое, все его радости, свет которых сияет даже во мраке настоящего. Я снова процитировал поэта, чтобы я сам не выглядел проповедником: "Was Du erlebst, kann eine Macht der Welt Dir rauben". (То, что ты пережил, никакая сила на Земле не может у тебя отнять.) Не только пережитое нами, но и все, что мы сделали, все наши значительные мысли и все, что мы перестрадали - все это не потеряно, хотя и находится в прошлом: все это обрело существование благодаря нам. То, что состоялось в прошлом - тоже род существования, и может быть - самый надежный род.

Потом я заговорил о многих возможностях придать жизни смысл. Я сказал моим сотоварищам (которые молча лежали в темноте, хотя время от времени слышался вздох), что человеческая жизнь в любых условиях никогда не становится лишённой смысла, и что этот беспредельный смысл жизни включает страдания и умирание, лишения и смерть. Я просил несчастных людей, которые внимательно слушали меня в темноте барака, взглянуть прямо в лицо всей серьёзности нашего положения. Нельзя терять надежду; необходимо сохранять мужество и верить, что безнадежность нашей борьбы не умаляет ее достоинства и смысла. Я сказал, что в трудные минуты кто-нибудь смотрит на нас - друг, жена, близкий человек - живой или мертвый, или Бог - и ожидает, что мы не разочаруем его. Он надеется увидеть, что мы страдаем гордо - а не униженно - и что мы знаем, как достойно умереть.

И в конце я говорил о нашей жертвенности, которая при любом исходе имеет смысл. В нормальном мире, мире материального успеха, эта жертвенность, вполне естественно, могла показаться бесцельной. Но на самом деле наша жертвенность имеет смысл. Те из нас, кто обладает какой-нибудь религиозной верой, сказал я открыто, поймут это без затруднений. Я рассказал о моем товарище, который, попав в лагерь, постарался заключить договор с Небесами: пусть его страдания и смерть спасут существо, которое он любил, от мучительного конца. Для этого человека страдания и смерть были полны смысла: это была его жертва, полная самого глубокого значения. Он не хотел умереть напрасно. Ни один из нас этого не хочет.

Целью моих слов было найти полный смысл нашей жизни, здесь и теперь, в этом бараке и в нашей практически безнадежной ситуации. Я видел, что мои усилия не были напрасны. Когда лампочка снова загорелась, я увидел изможденные фигуры друзей, бредущих ко мне со слезами на глазах, чтобы поблагодарить меня. Но я вынужден признаться, что мне очень редко хватало внутренних сил для такого контакта с товарищами по несчастью, и я упустил много других подобных случаев.

Мы подошли к третьей стадии душевных реакций заключенных: их психологии после освобождения. Но до этого рассмотрим вопрос, который часто задают психологу, особенно лично знакомому с такими вещами: что он может сказать о психологическом портрете лагерных охранников? Возможно ли, чтобы люди из плоти и крови могли так обращаться с другими людьми, как об этом рассказывают заключенные? Услышав их рассказы и поверив им, нельзя было не задать вопрос, как такие вещи могли произойти, с психологической точки зрения. Чтобы ответить на этот вопрос, не вдаваясь в подробности, надо указать на несколько вещей: во-первых, среди охранников были садисты - садисты в чисто клиническом смысле. Во-вторых, именно таких отбирали, когда требовалось набрать особо жестокую команду охранников.

Мы очень радовались, когда во время работы нам разрешали несколько минут погреться (после двух часов работы на жестоком морозе) у маленькой

печки, которую мы топили хворостом и щепками. Но всегда находились бригадиры, для которых особым удовольствием было отнять у нас это утешение. Какое наслаждение выражали их лица, когда они не просто запрещали нам стоять около печки, но переворачивали ее и втапывали ее чудное пламя в снег! Если эсэсовцам случалось невзлюбить кого-то, среди них всегда находился один, известный своим искусством и страстью к изощренным пыткам, к которому и посылали несчастного заключенного.

В-третьих, чувства большинства охранников притупились за много лет, в продолжение которых, в постоянно растущих дозах, они наблюдали жестокие нравы лагеря. Эти морально и душевно закаменевшие люди по крайней мере отказывались принимать участие в садистских расправах. Но они не мешали другим их осуществлять.

В-четвертых, следует сказать, что даже среди охранников были люди, которые нас жалели. Упомяну только коменданта лагеря, где я встретил освобождение.

Один лишь лагерный врач (сам заключенный) знал, что этот человек тратил немалые деньги из собственного кармана, чтобы покупать лекарства для заключенных в ближайшем городке; нам об этом стало известно только после освобождения.

Тут я не могу не упомянуть необычный инцидент, связанный с отношением некоторых заключенных-евреев к этому коменданту. После того, как американцы освободили наш лагерь, трое молодых венгерских евреев спрятали его в лесу. Потом они отправились к начальнику американцев, который очень хотел поймать бывшего коменданта, и поставили ему условие: они укажут, где он прячется, если американцы обязуются, что с ним ничего не сделают. После некоторых колебаний, это обещание было дано. Американский офицер не только сдержал слово, но и в каком-то смысле вернул коменданта на прежнюю должность: он занялся сбором одежды для уцелевших узников в соседних деревушках. Ведь мы до сих пор донашивали одежду тех товарищей по заключению, которых в Освенциме сразу отправили в газовые камеры.

А вот старший лагерный надзиратель, сам заключенный, был безжалостнее, чем любой эсэсовец. Он избивал заключенных по малейшему поводу, в то время как комендант лагеря, насколько я знаю, никогда не поднял на нас руки.

Очевидно, что простое знание, что один человек был лагерным охранником, а другой - заключенным, не говорит почти ничего. Человеческую доброту можно было найти в любой группе, даже в такой, которую в целом легко осудить. В этом отношении границы между группами перекрывались, и мы не должны все упрощать, говоря, что вот эти были дьяволами, а те - ангелами. Разумеется, быть добрым к заключенным, несмотря на общую атмосферу лагеря, было большим подвигом для охранника или бригадира; а с другой стороны, низость заключенного, который дурно обращался с товарищами по несчастью, заслуживает исключительного презрения. Совершенно понятно, что последние вызывали особую ненависть заключенных, в то время как их глубоко трогала малейшая доброжелательность со стороны кого-нибудь из охранников. Я помню, как бригадир потихоньку сунул мне ломоть хлеба, оставшийся у него, как я знал, от собственного завтрака. Я был растроган до слез вовсе не только этим кусочком хлеба. Меня тронуло человеческое отношение бригадира - его доброе слово и взгляд сочувствия.

Из этого опыта следует, что в мире существуют две человеческие расы, и только эти две - "раса" достойных людей и "раса" недостойных. Они присутствуют повсюду: они находятся во всех группах общества. В этом смысле нет групп, состоящих только из одной расы - так, можно было найти достойного

парня и среди лагерных охранников.

Жизнь в концлагере распахивает настежь душу человека, демонстрируя ее до самого дна. Разве удивительно, что в ее глубине мы опять находим чисто человеческие качества, которые по своей природе являются смесью добра и зла?

Пропасть, отделяющая добро от зла и проходящая через любое человеческое существо, доходит до самой глубины души и становится видимой даже на дне той бездны, которая раскрывается в концлагере.

И вот - последняя глава психологии концлагеря - психология заключенного, который уже освобожден. Для описания опыта освобождения, который, естественно, у каждого личный, вернемся к повествованию о том утре, которого мы так страстно ждали и так мало надеялись дождаться - когда после многих дней страшного напряжения над воротами лагеря был поднят белый флаг. Состояние внутренней тревоги сменилось полной расслабленностью. Но мы вовсе не обезумели от радости, как было бы легко полагать. Что же происходило на самом деле?

Мы, заключенные, устало прибрели к воротам лагеря. Мы робко оглянулись и вопросительно посмотрели друг на друга. Потом рискнули сделать несколько шагов за пределы лагеря. На этот раз нам не выкрикивали никаких команд, и не было нужды уворачиваться от удара или толчка. О нет! На этот раз охранники предлагали нам сигареты! Сначала мы вообще их едва узнали - они переоделись в штатское. Мы медленно пошли по дороге, ведущей из лагеря. Скоро наши ноги заболели и стали подгибаться. Но мы брели, хромя, дальше: мы хотели в первый раз увидеть окрестности лагеря глазами свободного человека.

"Свобода!" твердили мы про себя, и все же не могли поверить. Мы так часто произносили это слово все годы, пока мечтали о ней, что его смысл стерся.

Его реальность не могла пробиться в наше сознание; мы не могли представить себе, что это наша свобода. (Это было 27 апреля 1945 г. - Р.М.)

Мы пришли на луга, полные цветов. Мы их видели и понимали, что это цветы, но они не вызвали у нас никаких чувств. Первая искра радости вспыхнула, когда мы увидели петуха с пышным многоцветным хвостом. Но это была лишь искра: мы еще не принадлежали к этому миру.

Вечером, когда мы все снова сошлись в нашем бараке, каждый тихо спрашивал друга: "Скажи мне, ты радовался сегодня?" И друг смущенно отвечал, не зная, что все чувствовали одно и то же: "По правде говоря, нет!" Мы буквально потеряли способность радоваться, и нам пришлось медленно учиться этому заново.

На языке психологии то, что происходило с освободившимися заключенными, можно назвать "деперсонализацией". Все выглядело нереальным, неправдоподобным, как во сне. Мы не могли поверить, что это наяву. Как часто за прошедшие годы мы бывали обмануты снами! Нам снилось, что наступил день освобождения, мы возвращаемся домой, здороваемся с друзьями, обнимаем жен, садимся за стол и начинаем рассказывать обо всем, через что мы прошли - и о том, как часто нам снился этот день. И тут в уши нам вонзался свисток, сигнал побудки, и наши сны о свободе кончались. И вот сон стал явью. Но могли ли мы действительно в это поверить?

Тело не так склонно к торможению, как мозг. Оно с первого дня стало

пользоваться свободой как следует. Оно начало жадно есть, часы и дни напролет, захватив иногда полночи. Поразительно, как много можно съесть! И когда один из нас был приглашен в гости радушным соседом-фермером, он ел и ел, потом выпил кофе, которое развязало ему язык, и он начал говорить, и говорил часами. Гнет, годами давивший на его разум, наконец свалился. Казалось, что он не в состоянии остановиться, что его желание говорить неодолимо. Я знал людей, которые только короткое время испытывали сильное давление (например, под перекрестным допросом в гестапо) - у них была такая же реакция. Много дней прошло прежде, чем развязался не только язык, но и что-то внутри, и тогда чувства вырвались из сдавливавших их оков.

Однажды, через несколько дней после освобождения, я долго шел по полям, мимо цветущих лугов, в торговый городок недалеко от лагеря. Жаворонки поднимались в небо, и я слышал их радостное пение. На километры вокруг никого не было видно, не было ничего, кроме простора земли и неба и ликования жаворонков. Я остановился, взглянул вокруг и вверх в небо - и опустился на колени. В этот момент я плохо сознавал, что со мной; в голове звучала и повторялась только одна фраза, все время одна и та же: "Я зывал к Богу из моей тесной тюрьмы - и Он подарил мне свободу этого пространства!" Как долго я стоял там на коленях и повторял эту фразу - уже не помню. Но я знаю, что в этот день, в этот час началась моя новая жизнь. Шаг за шагом я опять становился человеческим существом.

Дорога, которая вела от острого душевного напряжения последних дней в лагере к душевному спокойствию, конечно, вовсе не была гладкой. Неверно считать, что освободившийся заключенный больше не нуждается в душевной помощи. Мы должны помнить, что человек, так долго находившийся под огромным душевным гнетом, несомненно находится в некоторой опасности, особенно потому, что этот гнет был сброшен сразу. Эта опасность (в смысле психологической гигиены) является психологическим двойником кессонной болезни. Так же, как физическое здоровье подводника будет в опасности, если его слишком быстро поднять на поверхность из глубины, где он дышал воздухом под большим давлением, и у человека, который разом был освобожден от душевного гнета, моральное и душевное здоровье могут пострадать.

В течение этой психологической фазы можно наблюдать, как люди с более примитивной натурой не могут избавиться от влияния жестокости, которая окружала их в лагерной жизни. Сейчас, будучи свободными, они считают, что могут пользоваться своей свободой жестоко и неограниченно. Единственное, что для них изменилось - что они сейчас не притесненные, а притеснители. Они стали хозяевами, а не жертвами сил произвола и несправедливости. Они оправдывали свое поведение перенесенными жестокостями. Часто это проявлялось в как будто незначительных происшествиях. Как-то мы с приятелем шли по полям к лагерю и внезапно вышли к полю, покрытому зелеными всходами. Я стал обходить их, но он взял меня под руку и потащил прямо через него. Я пробормотал что-то насчет того, что незачем топтать хрупкие всходы. Он пришел в ярость и закричал: "Не смей это говорить! Разве у нас мало отобрали? Мои жена и ребенок отправлены в газовую камеру, не говоря уже обо всем остальном - и ты не позволяешь мне затоптать несколько стеблей овса?!"

Только постепенно к этим людям возвращалась банальная истина, что ни у кого нет права творить зло. Для этого нам пришлось приложить усилия, иначе

последствия были бы гораздо худшими, чем несколько тысяч затоптанных стеблей овса. У меня до сих пор перед глазами стоит заключенный, который закатал рукава, поднес правую руку к моему носу и закричал: "Пусть эта рука будет отрублена, если я не покрою ее кровью в первый же день, когда вернусь домой!" Я хочу подчеркнуть, что это был вовсе не злой по природе человек. Он всегда был хорошим товарищем - и в лагере и после.

Кроме искажения морали, вызданной резким освобождением от душевного гнета, было еще два фундаментальных переживания, которые угрожали испортить характер освободившегося заключенного: горечь и разочарование, когда он возвращался к своей прежней жизни.

Горечь причиняло многое, с чем он сталкивался в своем родном городе. Оказалось, что во многих местах его встречают равнодушным пожатием плеч и избитыми фразами; когда он повсюду слышал одно и то же: "Мы об этом ничего не знали" и "Мы тоже страдали", он спрашивал себя - неужели они не могут мне сказать ничего лучше?

Но куда больнее было пережить разочарование. Тут уже не земляки и соседи (настолько равнодушные и бесчувственные, что от отвращения хотелось заползти в нору и никогда больше никого не видеть), а сама судьба оказывалась столь жестокой. Человек, который годами считал, что достиг абсолютного предела возможных страданий, теперь обнаруживал, что у страдания нет пределов, что он способен страдать еще, и куда сильнее.

Когда мы старались внушить человеку в лагере душевное мужество, мы старались показать ему в будущем то, ради чего стоит стремиться выжить. Ему надо было напомнить, что жизнь еще ждет его, что какое-то человеческое существо дожидается его возвращения. Оказалось, что многих никто уже не ждал. Горе тому, кто узнавал, что человека, само воспоминание о котором питало его мужество в лагере, больше нет! Горе тому, кто едва дождавшись дня, по которому он так тосковал, обнаруживал, что этот день совсем не так радостен, как он ему снился! Он садился в трамвай, подъезжал к дому, который годами видел в своем воображении, нажимал на кнопку звонка, о чем он страстно мечтал тысячи раз - и только для того, чтоб убедиться, что человека, который должен был открыть ему дверь, тут нет - и никогда больше не будет.

Мы говорили друг другу в лагере, что не может быть такого земного счастья, которое компенсировало бы все, что мы перестрадали. Мы не надеялись на счастье - не это питало нашу стойкость и придавало смысл нашим страданиям, нашим жертвам и нашему умиранию. Но все же мы не были готовы к горестям. Это разочарование, выпавшее слишком многим, оказалось очень трудно преодолимым, и для психиатра было тяжелой задачей помочь человеку с этим справиться. Но это не должно его обескураживать, а наоборот - дать добавочный стимул.

И вот для каждого из освободившихся заключенных наступает время, когда, вспоминая свою лагерную жизнь, он уже не в состоянии понять, как он все это вынес. Как тогда, в день освобождения, все казалось ему прекрасным сном, так же приходит день, когда все пережитое в лагере кажется ему не более чем ночным кошмаром.

И самое главное для вернувшегося - это удивительное чувство, что после всего, что он перестрадал, ему уже нечего больше бояться - кроме своего Бога.

Часть вторая

ЧТО ТАКОЕ ЛОГОТЕРАПИЯ

Читатели моей краткой автобиографической повести обычно просят дать им более полное и ясное объяснение моей терапевтической доктрины. Поэтому я добавил краткий раздел о логотерапии к первоначальному изданию От лагеря смерти к экзистенциализму. Но этого оказалось недостаточно - меня продолжали осаждать просьбами о более обстоятельном изложении. Поэтому в настоящем издании я полностью переписал заново и значительно расширил свое изложение. (1985 г.)

Задача была непростой. Изложить читателю в кратком виде весь материал, который занимает двадцать томов в немецком оригинале - почти безнадежное предприятие. Я вспоминаю американского врача, который однажды явился в мой кабинет и спросил меня: "Так что, доктор, вы психоаналитик?" На что я ответил: "Не совсем психоаналитик; можно сказать, психотерапевт." Он продолжал расспросы: "Какую школу вы представляете?" Я ответил: "Это моя собственная теория, она называется логотерапией." "Можете ли вы изложить мне в одном предложении, что понимается под логотерапией? По крайней мере, в чем разница между психоанализом и логотерапией?" "Да, - сказал я. - Но сперва, можете ли вы изложить в одной фразе, в чем, по-вашему, сущность психоанализа?" Вот его ответ: "Во время психоанализа пациент должен лежать на кушетке и рассказывать вещи, о которых иногда говорить очень неприятно." На что я немедленно ответил следующей импровизацией: "Ну, а в логотерапии пациент может остаться в кресле, но должен выслушивать вещи, которые иногда очень неприятно услышать."

Конечно, это была шутка, а не квинтэссенция логотерапии. Однако кое-что в ней есть, так как логотерапия, по сравнению с психоанализом, метод менее ретроспективный (обращенный в прошлое) и менее интроспективный (обращенный на самонаблюдение). Логотерапия фокусируется главным образом на будущем, иначе говоря, на смысле того, что пациент должен сделать в будущем.

(Логотерапия действительно является психотерапией, сосредоточенной на смысле.) В то же время логотерапия разрывает все образовавшие порочный круг механизмы обратной связи, которые играют такую большую роль в развитии неврозов. Таким образом типичная невротическая сосредоточенность на себе рассеивается, вместо того, чтобы постоянно крепнуть и усиливаться.

Разумеется, это крайнее упрощение. Но все же в логотерапии пациента действительно ставят перед вопросом о смысле его жизни и переориентируют по отношению к нему. Если помочь пациенту осознать этот смысл, это может существенно помочь преодолению его невроза.

Сейчас я объясню, почему я употребляю термин "логотерапия" как название моей теории. Logos - это греческое слово, которое означает "смысл".

Логотерапия, или, как называли ее некоторые авторы, "третья венская школа психотерапии", сосредоточена на смысле человеческого существования и на поисках человеком этого смысла. Согласно логотерапии, стремление найти смысл жизни - основная мотивационная сила человека. Вот почему я говорю о воле к смыслу в отличие от принципа удовольствия (или, как мы могли бы сказать, воле к удовольствию), на которой сосредоточен фрейдовский психоанализ, а также в отличие от воли к власти, на которой сосредоточена

адлеровская психология (она пользуется термином "стремление к превосходству").

Воля к смыслу

Поиск смысла жизни - это основная мотивация человеческой жизни, а вовсе не "вторичная рационализация" (сознательное объяснение) инстинктивных побуждений. Этот смысл уникален и специфичен, так как должен быть найден и осуществлен только самим человеком; только тогда он может удовлетворить его собственную волю (стремление) к смыслу. Есть авторы, которые утверждают, что смысл и ценности жизни являются "всего лишь защитными механизмами, конструкцией из реакций и сублимаций". Но что касается меня, я вовсе не хочу жить ради моих "защитных механизмов", и не готов умереть ради моих "реакций". Однако человек способен жить и даже умереть ради своих идеалов и ценностей.

Несколько лет назад во Франции был проведен опрос общественного мнения. По его результатам, 89% опрошенных признали, что человеку необходимо "нечто", ради чего стоит жить. Более того, 61% допускают, что есть нечто, или некто в их жизни, ради которых они даже готовы умереть. Я повторил этот опрос в моем больничном отделении в Вене, и среди пациентов, и среди персонала, и результат был практически такой же, как и среди тысяч людей во Франции: разница была всего в 2%. Другое статистическое обследование, охватившее 7.948 студентов в 49 колледжах, было проведено социологами из университета Джона Гопкинса. Их предварительный отчет является частью двухлетнего исследования, которое финансировал Национальный институт душевного здоровья. На вопрос, что они считают сейчас "очень важным" для себя, 16% отметили "заработать кучу денег"; 78% сказали, что их первой целью является "найти цель и смысл жизни".

Разумеется, бывают случаи, когда озабоченность ценностями жизни - просто камуфляж, маска скрытых внутренних конфликтов; но это скорее исключение из правил. В этих случаях мы должны бороться с псевдоценностями, и как таковые они должны быть разоблачены. Однако это разоблачение должно остановиться, как только мы сталкиваемся с тем, что в человеке подлинно и неподдельно, то-есть со стремлением человека к жизни, настолько полной смысла, насколько возможно. Если тут не остановиться, то единственное, что "срывающий маски" психолог разоблачает, - это свое собственное "скрытое побуждение", а именно свою бессознательную потребность унижить и обесценить то, что в человеке является неподдельным и подлинно человеческим.

Экзистенциальное крушение

Воля человека к смыслу тоже может быть поражена, и в этом смысле логотерапия говорит об "экзистенциальном крушении". Термин "экзистенциальный" может использоваться в трех значениях: (1) по отношению к существованию (existence) самому по себе, то-есть к специфически человеческому образу существования; (2) по отношению к смыслу существования; по отношению к стремлению найти конкретный смысл личного существования, то-есть воле к смыслу.

Экзистенциальное крушение может приводить и к неврозам. Для этого типа неврозов логотерапия создала термин "ноогенные неврозы" - в отличие от неврозов в традиционном смысле слова, т.е. психогенных неврозов. Ноогенные неврозы зарождаются не в психологическом, а скорее в "ноологическом" (от

греческого *poos* - разум) пространстве человеческого существования. Это еще один логотерапевтический термин, который означает все, принадлежащее к специфически человеческому пространству психики.

Ноогенные неврозы

Ноогенные неврозы возникают не из конфликта между желаниями и инстинктами, а скорее из экзистенциальных проблем. Среди этих проблем большую роль играет крушение воли к смыслу. И очевидно, что в ноогенных случаях адекватная терапия - это не психотерапия вообще, а скорее логотерапия; такая терапия, которая отваживается вторгаться в чисто человеческое измерение.

Я приведу следующий пример: высокопоставленный американский дипломат пришел в мой венский кабинет, чтобы продолжить курс психоаналитического лечения, начатого пять лет назад у нью-йоркского психоаналитика. Сначала я спросил, почему он вообще считает, что ему необходимо такое лечение. Оказалось, что пациент не удовлетворен своей карьерой, и ему очень трудно согласиться с американской внешней политикой. Однако его психоаналитик твердил ему опять и опять, что он должен стараться помириться со своим отцом, потому что правительство США и, в частности, его непосредственное начальство являются не чем иным, как "образом отца", и следовательно, его неудовлетворенность своей работой вызвана ненавистью, которую он питает к своему отцу. В течение пяти лет психоанализа пациента все больше убеждали принять такую интерпретацию, пока он окончательно не потерял способность видеть реальный лес сквозь пышные кусты символов и образов. После нескольких бесед стало ясно, что его воля к смыслу была расстроена его профессией, и что на самом деле он страстно мечтает заниматься каким-нибудь другим делом. Так как у него не было серьезных причин держаться за свою профессию и не овладеть совсем другой, он это и сделал - и с самым удовлетворительным результатом. С тех пор прошло пять лет - и он по-прежнему доволен своим новым занятием, как он мне недавно сообщил. Вряд ли это вообще был случай невроза, и поэтому я решил, что он не нуждается ни в какой психотерапии, и даже в логотерапии, по той простой причине, что он на самом деле не болен. Не всякий конфликт обязательно является невротическим; некоторый уровень конфликта вполне нормален. В таком же смысле страдание - не всегда патологическое явление; оно может быть не симптомом невроза, а человеческим достижением, особенно если страдание вырастает из экзистенциального расстройства. Я совершенно не допускаю, что поиск смысла существования, или даже сомнения относительно него, всегда вызваны болезнью или приводят к ней. Экзистенциальное расстройство или крушение само по себе не является патологией, и не патогенно (не порождает патологию). Озабоченность человека, даже его отчаяние и сомнения в ценности жизни - это экзистенциальное страдание, но ни в коем случае не душевная болезнь. Очень часто бывает, что интерпретация первого в терминах второй побуждает врача похоронить экзистенциальное отчаяние своего пациента под грудой транквилизаторов. А на самом деле его задача - провести пациента через его экзистенциальный кризис к духовному росту и развитию.

Логотерапия считает своим назначением помочь пациенту найти смысл своей жизни. Так как логотерапия заставляет его осознать спрятанный *logos* (смысл) своего существования, это аналитический процесс. До этого предела логотерапия напоминает психоанализ. Однако в своих усилиях сделать нечто снова осознанным она не ограничивается подсознательными фактами, но также

интересуется экзистенциальными реалиями, такими как потенциальный смысл существования пациента и его осуществление, а также его волей к смыслу. Верно, что всякий анализ, даже если он воздерживается от включения ноологического измерения в терапевтический процесс, старается, чтобы пациент осознал, к чему он на самом деле стремится в глубине души. Логотерапия отходит от психоанализа в той мере, в какой она рассматривает человека как существо, главная забота которого состоит в осуществлении смысла своей жизни, а не в получении удовольствия и в удовлетворении своих побуждений и инстинктов, или в примирении конфликтующих требований id, ego и superego, или в адаптации и регулированию отношений с обществом и средой.

Ноо-динамика

Разумеется, поиск человеком смысла может вызвать внутреннюю напряженность, а не внутреннее равновесие. Однако именно эта напряженность является незаменимой предпосылкой душевного здоровья. Я рискну сказать, что в мире нет ничего, что могло бы так эффективно помочь выжить даже в наихудших условиях, как сознание, что в жизни есть смысл. Много мудрости заключено в словах Ницше: "Тот, кто знает зачем жить, может вынести почти любое как." Я вижу в этих словах девиз, справедливый для любой психотерапии. В нацистских концлагерях я видел, как люди, знавшие, что их ждет задача, обязанность, которую надо выполнить, имели больше шансов выжить. С тех пор такой же вывод был сделан другими авторами книг о концлагерях, а также в психиатрических исследованиях людей, бывших в японских, северокорейских и северовьетнамских лагерях военнопленных.

Обратимся к моему личному опыту. Когда меня отправили в Освенцим, моя рукопись, готовая к печати, была конфискована. Без сомнения, сосредоточенное стремление восстановить эту работу помогло мне пережить ужасы лагерей. Когда в баварском лагере я заболел тифозной лихорадкой, я стал набрасывать на маленьких клочках бумаги заметки, которые помогли бы мне восстановить рукопись, доживи я до дня освобождения. Я уверен, что восстановление утраченной рукописи в темных бараках баварского лагеря спасло меня от сердечно-сосудистого коллапса.

Можно считать, что душевное здоровье основано на определенной степени напряжения, вызванного разницей между тем, что уже достигнуто, и тем, что еще нужно совершить; разрывом между тем, что ты есть, и чем ты должен стать. Такое напряжение присуще человеческому существу, и поэтому незаменимо для душевного благополучия. Так что не стоит колебаться, ставить ли перед человеком задачу поиска потенциального смысла его жизни, который ему надо осуществить. Только так мы можем пробудить в нем волю к смыслу, которая находится в латентном (спящем) состоянии. Я считаю опасным ложное понятие душевной гигиены, предполагающее, что человек в первую очередь нуждается в равновесии, или, как это называется в биологии, "гомеостазе", т.е. в ненапряженном состоянии. В чем человек действительно нуждается - так это не в расслаблении, а скорее в стремлении к значительной цели, свободно выбранной задаче, - и в борьбе за ее выполнение. Он нуждается не в снятии напряжения любой ценой, а в зове потенциального смысла, ждущего от него осуществления. Человеку нужен не гомеостаз, а то что я называю ноодинамикой, т.е. экзистенциальная динамика в силовом поле напряжения, где один полюс является смыслом, который следует осуществить, а другой полюс - сам человек, который и должен это сделать. И не надо думать, что это верно только в

нормальных условиях; для невротиков это еще полезнее. Если архитектор хочет укрепить обветшавшую арку, он увеличивает лежащий на ней груз, потому что тогда ее части крепче соединяются друг с другом. И если врач хочет укрепить душевное здоровье пациента, он не должен бояться создать значительное напряжение, переориентируя его по направлению к смыслу жизни.

Указав на благотворное действие ориентации на смысл, я обращаюсь к вредному влиянию того чувства, на которое нынче жалуются так много пациентов, а именно чувства всеобщей и окончательной бессмысленности их жизни. У них нет осознания смысла, ради которого стоит жить. Их преследует ощущение внутренней пустоты, вакуума; они попали в ситуацию, которую я назвал "экзистенциальным вакуумом".

Экзистенциальный вакуум

Экзистенциальный вакуум - широко распространенное в двадцатом веке явление. Его легко объяснить; в нем виновата двойная утрата, которую человек перенес с тех пор, как стал настоящим человеческим существом. В начале своей истории человек утратил часть животных инстинктов, которые определяли поведение животного и служили ему охраной. Такая охрана, как и Рай, навсегда потеряна для нас; нам приходится принимать решения сознательно. Вдобавок, произошла еще одна утрата, причем на совсем недавней ступени развития: традиции, которые долго служили надежной опорой поведения человека, сильно ослабели. Теперь ни инстинкты не говорят ему, что нужно делать, ни традиции - как следует поступать; иногда он даже сам не знает, чего ему хочется. Вместо этого, человек либо стремится поступать так, как другие (конформизм), либо делает то, что другие от него хотят (тоталитаризм).

Недавнее статистическое обследование обнаружило, что среди моих европейских студентов 25% в большей или меньшей степени страдают экзистенциальным вакуумом. Среди моих американских студентов их было уже не 25%, а 60%.

Экзистенциальный вакуум проявляет себя главным образом в состоянии скуки. Сейчас мы можем понять Шопенгауэра, когда он сказал, что человечество очевидно обречено вечно шататься между двумя крайностями - бедствиями и скукой. Фактически скука в наше время вызывает больше проблем и доставляет психиатрам больше хлопот, чем бедствия. И эти проблемы становятся все более острыми, потому что прогресс автоматизации обещает нам все большее количество свободного времени, доступного среднему работнику. Как обидно, что многие из них не будут знать, что с ним делать.

Рассмотрим, например, "воскресный невроз", вид депрессии, беспокоящий людей, которые осознают бессодержательность своей жизни в те дни, когда суета рабочей недели кончилась, и заявляет о себе внутренняя пустота. Причину немалой доли самоубийств можно проследить до такого экзистенциального вакуума. Нельзя понять такие широко распространенные явления, как депрессия, агрессия и наркомания всех видов, если не признать их подоплекой экзистенциальный вакуум. То же самое - и в случае кризиса пенсионеров и стариков.

Более того, существуют различные маски и прикрытия, под которыми выступает экзистенциальный вакуум. Иногда пропавшая воля к смыслу замещается волей к власти, волей к деньгам. В других случаях место расстроенной воли к смыслу занимает воля к удовольствию. Вот почему экзистенциальное крушение часто разрешается сексуальной компенсацией. В таких случаях можно наблюдать, как сексуальное либидо начинает буйствовать в экзистенциальном вакууме.

Аналогичные вещи встречаются в случае неврозов. Есть определенные типы механизмов с обратной связью в форме порочного круга, о которых я скажу позже. Можно часто наблюдать, как эта симптоматика вторгается в экзистенциальный вакуум, и там расцветает. То, что приходится лечить у таких пациентов - не ноогенный невроз. Однако мы никогда не сумели бы помочь пациенту преодолеть это состояние, если бы не дополняли психотерапевтическое лечение логотерапией. Ликвидация экзистенциального вакуума предотвращает возможные рецидивы в будущем. Поэтому логотерапия показана не только для ноогенных случаев, как указывалось выше, но и в психогенных случаях, и даже иногда при соматогенных (псевдо)неврозах. В этом свете справедливо утверждение Магды Арнольд: "Каждая терапия должна каким-то образом, пусть в совсем малой степени, быть и логотерапией".

Сейчас мы рассмотрим, что можно сделать, если пациент спрашивает нас о смысле жизни.

Смысл жизни

Я не думаю, что какой-нибудь врач может ответить на этот вопрос общим определением, просто потому что смысл жизни - разный от одного человека к другому, от одного дня до другого и от одного часа до другого. Таким образом, можно говорить не о смысле жизни вообще, а о специфическом смысле жизни данного человека в данный момент. Ставить вопрос в общих выражениях - все равно что спросить чемпиона мира по шахматам: "Скажите, какой шахматный ход - самый лучший в мире?" Не существует такой вещи, как лучший или просто хороший ход вне конкретной ситуации в игре и личности противника. То же самое верно для человеческой жизни. Не следует искать абстрактного смысла жизни. У каждого есть свое особое призвание или миссия, конкретное предназначение в жизни, которое требует выполнения. Во всем этом ему нет замены, и его жизнь не может быть прожита заново. Таким образом, задача каждого уникальна, как и его специфическая возможность ее выполнить.

Так как каждая ситуация в жизни представляет собой вызов человеку, ставя задачу, которую ему надо решить, вопрос о смысле жизни следует повернуть в обратном направлении. В конечном итоге, не человек должен задавать этот вопрос; напротив, он должен признать, что спрашивают его. Одним словом, это жизнь задает человеку вопрос, и он может ответить только одним способом - отвечая за свою собственную жизнь, взяв на себя ответственность за свои поступки. Итак, логотерапия видит в ответственности саму сущность человеческого существования.

Сущность существования

Это подчеркивание особого значения ответственности отражено в категорическом императиве логотерапии: "Живите так, как будто вы живете уже второй раз, и как будто вы совершили в первый раз ту же ошибку, которую собираетесь совершить сейчас!" Мне кажется, что этот принцип, как никакой другой, способен пробудить в человеке чувство ответственности; сначала он позволяет вообразить, что настоящее - это прошлое, а потом - что прошлое еще можно изменить и исправить. Такая инструкция ставит его лицом к лицу перед конечностью жизни, а также перед окончательностью того, что он делает со своей жизнью и с собой.

Логотерапия старается помочь пациенту полностью осознать свою собственную ответственность; поэтому она должна оставить за ним выбор - за

что, перед чем, или перед кем он считает себя ответственным. Вот почему логотерапевт в наименьшей степени из всех психотерапевтов склонен навязывать свои оценочные суждения пациентам - он никогда не позволит пациенту возложить на врача ответственность за свои решения.

Итак, это дело пациента - решать, как он будет понимать задачу своей жизни, неся ответственность перед обществом или своей собственной совестью. Многие люди считают, что несут ответственность и перед высшим существом; они не воспринимают свою жизнь лишь через возложенные на них задачи, но и несут в душе образ руководителя, возложившего на них эти задачи.

Логотерапия - это не учение и не проповедь. Она так же далека от логических рассуждений, как и от моралистических увещеваний. Образно говоря, логотерапевт скорее играет роль глазного врача, чем художника. Художник старается передать нам картину мира, как он ее видит; офтальмолог старается дать нам возможность увидеть мир своими глазами. Роль логотерапевта состоит в расширении и прояснении поля зрения пациента, чтобы он смог увидеть и осознать весь спектр потенциального смысла.

Провозглашая, что человек отвечает за потенциальный смысл своей жизни и его реализацию, я хочу подчеркнуть, что истинный смысл жизни надо найти во внешнем мире, а не внутри человека и его собственной души, как в какой-то замкнутой системе. Я дал определение этой существенной характеристике "выйти за пределы себя" (self-transcendence). Она указывает, что бытие человека всегда направлено к чему-то или кому-то иному, чем он сам - будь это смысл, который надо осуществить, или другой человек, с которым надо встретиться. Чем больше человек забывает себя - отдавая себя служению важному делу или любви к другому человеческому существу - тем более он человечен и тем более он реализует себя. То, что называют самореализацией, не должно быть целью, по той простой причине, что чем больше за ней гонишься, тем вернее ее можно упустить. Другими словами, самореализация возможна как побочный эффект "выхода за свои пределы".

Итак, мы показали, что смысл жизни все время меняется, но никогда не исчезает. Согласно логотерапии, мы можем обнаружить этот смысл на трех разных направлениях: (1) занимаясь творчеством или работой, или совершая подвиг; (2) переживая нечто или встретив кого-то; (3) заняв достойную позицию по отношению к неизбежному страданию. Первое направление, путь достижений и свершений, не нуждается в объяснениях; второе и третье требуют уточнения.

Второй путь нахождения смысла жизни - это переживания, познание чего-то - доброты, истины и красоты, природы и культуры, и наконец - познание другого человеческого существа в его предельной уникальности, единственности - полюбив его.

Смысл любви

Любовь - это единственный способ понять другое человеческое существо в глубочайшей сути его личности. Никто не может полностью понять саму сущность другого человеческого существа, если он не будет его любить. Любовь придает нам способность увидеть особенности и самые существенные черты любимого человека, и даже больше - увидеть его еще не реализованный потенциал. Более того, своей любовью любящий человек помогает любимому реализовать этот потенциал. Заставив любимого осознать, чем он может стать, можно помочь ему осуществить свои возможности.

В логотерапии любовь не интерпретируется как простой эпифеномен

(вторичное явление) сексуальных побуждений и инстинктов в смысле так называемой их сублимации. В норме секс - это способ выражения любви. Секс оправдан, даже освящен постольку, и только в той мере, в какой он является средством любви. Итак, любовь не рассматривается как простой побочный эффект секса; скорее секс - это способ выразить ощущение той предельной близости, которая называется любовью.

Третий путь найти смысл жизни - через страдание.

Смысл страдания

Мы не должны забывать, что найти смысл жизни можно и тогда, когда мы находимся в безнадежной ситуации, во власти судьбы, изменить которую невозможно. Именно тогда предоставляется возможность проявить качества, на которые способен только человек - превратить личную трагедию в триумф, превратить приговор судьбы в подвиг. Когда мы больше не в состоянии изменить ситуацию, такую как неизлечимая болезнь, от нас требуется изменить себя.

Я приведу яркий пример: однажды пожилой врач-терапевт стал советоваться со мной по поводу своей тяжелой депрессии. Он не мог справиться с горем по поводу смерти жены, умершей два года назад, которую он любил больше всего на свете. Как я могу ему помочь? Что я должен ему сказать? Я воздержался от прямых утешений, а вместо этого спросил: "Что было бы, доктор, если бы вы умерли первым, и вашей жене суждено было бы пережить вас?" "О, - сказал он. - Для нее это было бы ужасно; она бы так страдала!" Я ответил: "Вот видите, доктор, такое страдание ее миновало, и это вы избавили ее - ценой того, что пережили ее и оплакиваете ее." Он не сказал ни слова, только пожал мне руку и вышел из кабинета. В какой-то мере страдание перестает быть страданием в тот момент, когда оно обретает смысл - смысл жертвоприношения.

Конечно, это не было терапией в прямом значении слова: во-первых, его отчаяние не было болезнью; во-вторых, я не мог изменить его судьбы, воскресить его жену. Но в этот момент мне удалось изменить его отношение к неумолимой судьбе, и он по крайней мере смог увидеть смысл в своем страдании. Это один из основных принципов логотерапии: главное стремление человека не к тому, чтобы получить удовольствие или избежать боли, а к тому, чтобы увидеть смысл своей жизни. Вот почему человек готов даже страдать, если он уверен, что в его страдании есть смысл.

Я только обязательно должен уточнить, что страдание ни в коем случае не является необходимым, чтобы найти смысл. Я лишь настаиваю, что смысл возможен даже несмотря на страдания - разумеется, если страдание неизбежно.

Если же, однако, его можно избежать, то как раз имело бы смысл устранить его причину, будь она психологической, биологической или политической. Страдание без необходимости - это мазохизм, а не героизм.

Ныне покойная Эдит Вайскопф-Джоэлсон, профессор университета штата Джорджия, заявила в своей статье о логотерапии: "Наша теперешняя философия душевной гигиены придает большое значение принципу, что человек обязан быть счастливым, что несчастья - это признак неумения жить. Такая система ценностей приводит к тому, что гнет несчастья, которого нельзя избежать, еще усиливается чувством ложной вины за свое несчастье." А в другой статье она выразила надежду, что логотерапия сможет противодействовать некоторым нездоровым тенденциям в культуре Соединенных Штатов, где у неизлечимого страдальца есть очень мало возможности гордиться своим страданием и ощущать его как облагораживающий, а не унижающий фактор. "Поэтому он не только несчастен, но еще и стыдится быть несчастным."

Бывают ситуации, в которых человек лишен возможности заниматься работой или наслаждаться жизнью; но что никогда нельзя исключить, так это неизбежность страдания. Если человек принял вызов и готов страдать мужественно, он сохраняет смысл жизни до последнего момента, буквально до конца жизни. Другими словами, смысл жизни безусловен (не связан ни с какими условиями), потому что он включает даже потенциальный смысл неустранимого страдания.

Я хочу вернуться к тому, что было, наверное, самым глубоким моим переживанием в концентрационном лагере. Шансы на выживание там были не более чем 1:28, что легко проверить точной статистикой. Не было ни малейшей вероятности, что мне удастся спасти рукопись моей первой книги, спрятанную в подкладке куртки по прибытии в Освенцим. Мне пришлось испытать и превозмочь потерю моего первого духовного дитяти. Казалось, что после меня никого и ничего не останется - ни физического, ни духовного ребенка. И я очутился перед вопросом - не лишена ли в таких обстоятельствах моя жизнь всякого смысла.

Я не сразу заметил, что ответ на этот вопрос, над которым я так страстно бился, для меня уже приготовлен. Это произошло, когда мне пришлось отдать свою одежду и получить взамен поношенное тряпье узника, отправленного в газовую камеру сразу по прибытии в Освенцим. Я нашел в кармане куртки листок, вырванный из еврейского молитвенника и содержащий самую важную еврейскую молитву, Шма Израэль. Была ли возможность истолковать такое "совпадение" иначе, чем вызов судьбы: попытаться жить согласно моим мыслям, а не просто излагать их на бумаге?

Я припоминаю другую ситуацию, немного спустя, когда близкая смерть казалась неминуемой. Однако в этой критической ситуации мои мысли отличались от мыслей большинства моих товарищей. Их мучил вопрос: "Выживем ли мы в лагере? Если нет, то все это страдание не имеет смысла." Вопрос, занимавший меня: "Имеет ли все это страдание, эта смерть вокруг нас, смысл? Если не имеет, то, по конечному счету и выживание лишено смысла: ведь жизнь, смысл которой зависит от такой непредсказуемо случайной вещи, как спасение, в конечном итоге ничего не стоит."

Мета-клинические проблемы

("Мета" - здесь выходящие за рамки, около-клинические.)

В наше время психиатр все чаще сталкивается с пациентами, которые приходят к нему с чисто человеческими проблемами, а не с невротическими симптомами. Некоторые из тех, кто нынче обращается к психиатру, раньше пришли бы к священнику, пастору или раввину. Теперь они часто не доверяются священнослужителю, а вместо этого ставят перед врачом такие вопросы, как: "В чем смысл моей жизни?"

Логодрама

Я хочу привести следующий пример: однажды, после попытки самоубийства, в мое отделение попала женщина, у которой умер одиннадцатилетний сын. Доктор *** предложил ей присоединиться к терапевтической группе, с которой он проводил психодраму, и мне случилось зайти в комнату, где это происходило. Она рассказывала свою историю. После смерти мальчика она осталась одна со старшим сыном, инвалидом, страдающим последствиями детского церебрального паралича. Бедняга был прикован к инвалидной коляске. Однако его мать

восстала против своей судьбы. Но когда она попыталась совершить двойное самоубийство - вместе с ним, - именно он, ее сын-калека, не дал ей это сделать: ему хотелось жить! Для него жизнь имела смысл, а для матери - нет! Как мы могли помочь его матери понять, что ее жизнь тоже еще имеет смысл?

Импровизируя, я принял участие в беседе и стал задавать вопросы другой женщине из группы. Я спросил, сколько ей лет. Она ответила: "Тридцать." Я возразил: "Нет, вам сейчас не тридцать, вам сейчас восемьдесят и вы лежите на смертном одре. И вот вы смотрите назад на свою жизнь, которая была бездетной, но отмеченной финансовыми успехами и общественным признанием." Я предложил ей вообразить, что она должна чувствовать при этом. Ее ответ (как и весь сеанс) был записан на пленку, и я процитирую его в точности: "О, я вышла замуж за миллионера, и у меня была легкая и богатая жизнь! Я выпила ее до дна. Я флиртовала с мужчинами, я дразнила их. Но сейчас мне восемьдесят; у меня нет своих детей. В старости, глядя назад, я не вижу, для чего все это было; я должна сказать, что я прожила ее зря."

Тогда я предложил матери сына-инвалида точно так же вообразить, что ей восемьдесят лет и что она вспоминает свою жизнь. Вот что записано на пленке: "Я хотела иметь детей, и мое желание осуществилось. Один мой мальчик умер; однако другой, инвалид, попал бы в дом призрения, если бы я не взяла на себя заботу о нем. Хотя он искалечен и беспомощен, он в конце концов мой сын. И вот я постаралась дать ему всю возможную полноту жизни." В этот момент она разразилась слезами и, плача, продолжала: "Что касается меня, я спокойно могу оглянуться на свою жизнь; ведь я могу сказать, что моя жизнь была полна смысла, и я очень старалась осуществить его; я сделала все, что смогла - я сделала все, что смогла для своего сына. Моя жизнь не была неудачной." Глядя на свою жизнь как будто со смертного одра, она внезапно увидела в ней смысл, смысл, который включал в себя даже все ее страдания. И к тому же стало ясно, что даже короткая жизнь, как у ее рано умершего мальчика, может быть так богата радостью и любовью, что будет содержать больше смысла, чем жизнь, длившаяся восемьдесят лет.

Вскоре я перешел к другому вопросу, на этот раз обращаясь ко всей группе.

Может ли обезьяна, которую используют для производства полиомиэлитной сыворотки и поэтому все время делают инъекции. - может ли эта обезьяна понять смысл своих страданий. Все единодушно ответили - конечно, нет. С ее ограниченным интеллектом она никогда не сможет проникнуть в человеческий мир, т.е. единственный мир, в котором смысл страдания может быть понятен. Тогда я пошел дальше: "А что касается человека? Вы уверены, что мир человека - это высшая точка эволюции космоса. Разве нельзя представить себе, что есть еще другое измерение, мир выше человеческого; мир, в котором вопрос об окончательном смысле человеческого страдания найдет ответ?"

Сверх-смысл

Этот окончательный смысл несомненно находится вне ограниченных интеллектуальных способностей человека; поэтому в логотерапии мы говорим о сверхсмысле. От человека требуется вовсе не вытерпеть бессмысленность жизни, как учат некоторые экзистенциальные философы; а наоборот - смириться со своей неспособностью понять ее безусловную осмысленность в рациональных выражениях. Logos глубже логики.

Психиатр, который пытается продвинуться дальше понятия сверх-смысла,

будет рано или поздно посрамлен своими пациентами, как случилось однажды со мной. Моя шестилетняя дочь спросила меня: "Почему мы всегда говорим, что Бог добрый?" На что я ответил: "Несколько недель назад, когда ты болела корью, добрый Бог послал тебе полное выздоровление." Она тут же возразила: "Хорошо, папа, но не забудь - сначала он послал мне корь."

Однако, если пациент твердо стоит на почве религиозной веры, вполне допустимо использовать терапевтическое воздействие его религиозных убеждений для мобилизации его духовных ресурсов. Для этого следует поставить себя на место пациента. Именно так я поступил, когда ко мне обратился раввин из Восточной Европы и рассказал свою историю. Он потерял в Освенциме жену и шестерых детей, а сейчас оказалось, что его вторая жена бесплодна. Я заметил ему, что рождение потомства не является единственным смыслом жизни, потому что тогда жизнь потеряла бы смысл сама по себе, а что-нибудь внутренне бессмысленное не может стать осмысленным через свое воспроизведение. Но раввин, будучи ортодоксальным евреем, был в отчаянии, что у него нет родного сына, который прочел бы кадиш над его могилой.

Но я не сдавался, а сделал последнюю попытку. Я спросил его: разве он не надеется снова увидеть своих детей на небесах? Мой вопрос вызвал приступ рыданий, и истинная причина его отчаяния выступила наружу: он объяснил, что его дети, погибшие, как невинные мученики, оказались достойны самого высшего места на небесах; но сам он, старый и грешный человек, не сможет попасть туда же. Я возразил: "Рабби, вы ошибаетесь. Смысл того, что вы пережили своих детей, в том, что годы страданий могут очистить вас от ваших грехов, и вы можете стать достойным присоединиться к ним на небесах. Разве не сказано в Псалмах, что Бог хранит все наши слезы? Так что наверно все ваши страдания не напрасны." Впервые за много лет он нашел утешение в своих страданиях, взглянув на них с новой точки зрения, которую я ему открыл.

Преходящесть жизни

Среди вещей, отнимающих у жизни смысл, числятся не только страдания, но и смерть. Но я никогда не устаю повторять, что единственные преходящие стороны жизни - ее возможности; но как только они осуществляются, они тут же превращаются в реальность; они спасены от исчезновения и доставлены в прошлое; а в прошлом все сохраняется неизменным, и ничто не может быть безвозвратно утрачено.

Таким образом, конечность нашего существования никоим образом не делает его бессмысленным. Но она же возлагает на нас особую ответственность за нашу жизнь. Все зависит от того, насколько мы реализуем возможности, которые по своей природе преходящи. Человек постоянно совершает выбор из имеющихся в данный момент возможностей: какая из них будет приговорена к неосуществлению, и какая будет реализована? Какой выбор - раз и навсегда - будет сделан, и что останется бессмертным "следом на песке времени"? В каждый момент человек решает, к добру или ко злу, что будет памятником его существования.

Разумеется, обычно человек видит только сжатое поле преходящего мгновения и не замечает полных житниц прошлого, где раз и навсегда собраны все его деяния, его радости и страдания. Ничего нельзя переделать и ничего нельзя убрать. Я сказал бы: то, что уже прожито - самый надежный вид бытия.

Логотерапия, помня о неизбежной конечности жизни человека, побуждает его не к пессимизму, а к активности. Образно говоря, пессимист напоминает человека, который со страхом и печалью наблюдает, как его настенный

календарь с каждым прошедшим днем делается все тоньше и тоньше. С другой стороны, человек, активно решающий свои жизненные проблемы, подобен тому, кто, снимая с календаря очередной листок, делает на нем несколько дневниковых записей и бережно присоединяет его к предшествующим. Он гордо и радостно озирает свои богатства, отраженные в этих заметках, и жизнь, уже прожитую во всей ее полноте. Какое значение для него имеет то, что он уже состарился? Есть ли у него хоть какой-то повод завидовать окружающим его молодым, или приходится в ярость оттого, что его юность уже прошла? В чем ему завидовать молодому человеку? По поводу ожидающих его возможностей предстоящего ему будущего? "Нет, благодарю вас" - подумает он. "Вместо возможностей, в моем прошлом уже есть свершения, и не только реальность выполненной работы и пережитой любви, но и реальность мужественно перенесенных страданий. И именно своими страданиями я особенно горжусь - это те вещи, которые не могут вызвать зависти."

Техника логотерапии

Нельзя успокоить психодинамической интерпретацией естественный страх, вроде страха смерти; с другой стороны, невротический страх (боязнь открытого пространства или толпы) не может быть побежден философским пониманием и логическими доводами. Однако в логотерапии разработана особая техника для таких случаев. Чтобы понять, что происходит при использовании этой техники, мы начнем с расстройства, часто наблюдаемого у невротиков - тревожное предвидение. Для этого состояния характерно, что оно провоцирует именно тот страх, которого опасается пациент. Например, тот, кто боится смутиться, входя в большое помещение со множеством людей, действительно более других склонен краснеть от смущения. В этом контексте можно дополнить поговорку "Желание - это отец мысли" другой: "Страх - это мать происшествия."

По иронии, как страх вызывает как раз то, чего боишься, точно так же усиленное намерение мешает человеку достичь того, чего он так хочет.

Такое усиленное намерение, или "чрезмерное стремление", как я это называю, особенно часто наблюдается в случаях сексуальных неврозов. Чем больше мужчина пытается продемонстрировать свою сексуальную потенцию или женщина - свою способность испытывать оргазм, тем меньше им это удастся. Удовольствие есть, и должно оставаться, побочным эффектом; оно портится и разрушается в той степени, в какой оно становится самоцелью.

Кроме излишнего внимания, описанного выше, излишние, или "чрезмерные сомнения", как это называется в логотерапии, тоже могут быть патогенными (приводить к болезни). Вот иллюстрирующий это клинический пример. Молодая женщина пришла ко мне с жалобой на фригидность. В детстве она испытала сексуальные домогательства со стороны отца. Однако мы легко установили, что к сексуальному неврозу ее привел не сам по себе этот травмирующий опыт. Оказалось, что из-за чтения популярной психоаналитической литературы она постоянно жила в страхе перед тяжким уроном, который должен причинить ей ее травматический опыт. Это тревожное предчувствие вылилось как в излишнее стремление подтвердить свою женственность, так и в излишнее внимание к себе, а не к партнеру. Этого было достаточно, чтобы лишить пациентку кульминации сексуального наслаждения, потому что оргазм стал объектом внимания и стремления вместо того, чтобы оставаться неумышленным следствием бездумной преданности и полной отдачи своему партнеру. После недолгой терапии излишнее внимание к себе и стремление пациентки испытать оргазм было снято ("dereflected" - еще один термин из логотерапии. Снят условный рефлекс.).

Когда она перенесла свое внимание на то, что следует - на партнера, - оргазм непроизвольно установился.

Логотерапия основывает свою методику, названную "парадоксальным стремлением", на двойном факте: страх провоцирует как раз то, чего человек боится, а излишнее стремление делает невозможным как раз то, к чему он стремится. Я описал на немецком языке парадоксальное стремление еще в 1937 г. По этой методике пациенту предлагают хоть на мгновение устремиться к тому, чего он боится.

Вот один случай. Молодой врач стал советоваться со мной по поводу своего страха вспотеть в неподходящий момент. Обычно тревожного ожидания как раз было достаточно, чтобы бросить его в обильный пот. Чтобы разорвать этот круг, я посоветовал пациенту, когда это с ним произойдет, решиться открыто показать людям, как сильно он может вспотеть. Через неделю он вернулся ко мне, чтобы доложить: как только он встречал кого-нибудь, кто возбуждал его тревожное ожидание, он говорил себе: "Раньше с меня сходил только один литр пота, но сейчас, наверно, сойдет десять." И вот, после четырех лет фобии, он сумел, за неделю и после одного визита к врачу, навсегда освободиться от нее.

Читатель заметит, что эта процедура состоит в том, что установка пациента разворачивается в обратном направлении - его страх замещается парадоксальным (обратным) стремлением. Так нейтрализуется ветер, дующий в паруса тревоги.

Для успеха этой процедуры обязательно надо воспользоваться способностью, присущей лишь человеку - способностью взглянуть на себя со стороны, неотделимую, в частности, от чувства юмора. Ее необходимо пускать в ход всякий раз, когда применяется методика парадоксального стремления. При этом пациент становится способным посмотреть со стороны на свой собственный невроз. Близкая мысль содержится в книге Гордона Аллпорта Индивидуум и его религия: "Невротик, который научился смеяться над собой, уже на пути к владению собой и, может быть, к излечению." Парадоксальное стремление - это эмпирическое подтверждение и клиническое приложение этой мысли.

Для дальнейшего разъяснения этого метода можно привести еще несколько случаев. У нас был пациентом счетовод, который без всякого успеха лечился у многих врачей в различных клиниках. В наше больничное отделение он поступил в состоянии крайнего отчаяния, признавшись, что уже близок к самоубийству. Несколько лет он страдал "писчим спазмом", который стал настолько тяжелым, что ему грозила потеря работы. Его положение могла облегчить только срочная помощь. Приступив к лечению, д-р Ева Кордера посоветовала пациенту стремиться как раз к противоположности того, к чему он обычно стремился: вместо того чтобы стараться писать как можно более аккуратно и разборчиво, постараться изобразить каракули, наихудшие из возможных. Пусть он скажет себе: "Вот сейчас я вам покажу, как я пишу - как курица лапой!" И как раз тогда, когда он решил нарочно писать неразборчиво, у него это не получилось. "Я старался, но просто не смог," - сказал он на следующий день. И вот таким образом пациент за 48 часов освободился от своего писчего спазма, и за весь наблюдательный период ни разу им не страдал. Теперь он снова счастлив и полностью работоспособен.

О похожем случае рассказал мне коллега из ларингологического отделения Венской поликлинической больницы, только проблема была не в письме, а в речи. Это был самый тяжелый случай заикания из всех, что встретились ему за много лет практики. Насколько он помнил, никогда в жизни, за исключением одного случая, пациент не был свободен от заикания. Это произошло, когда он,

в возрасте двенадцати лет, решил прокатиться на трамвайной "колбасе". Его поймал кондуктор, и мальчик решил, что единственный способ выкрутиться - "бить на жалость" к несчастному, бедному зайке. И вот как раз тогда, когда он постарался продемонстрировать свое заикание, у него ничего не получилось! Его "подвело" бессознательное применение парадоксального стремления.

Однако эти примеры не должны создать впечатление, что парадоксальное стремление эффективно только в моносимптоматических случаях. С помощью этой логотерапевтической методики персонал моего отделения в Венской поликлинической больнице добивался успеха даже в случаях длительных обсессивно-компульсивных неврозов (навязчивых идей) самой тяжелой степени. Я могу сослаться, на пример 65-летней женщины, которая в течение 60 лет страдала неврозом навязчивого мытья рук. Д-р Ева Кордера начала лечение методом парадоксального стремления, и через два месяца пациентка уже смогла вести нормальную жизнь. До этого она признавалась: "Жизнь для меня - сущий ад." Превращенная в инвалида своим навязчивым мытьем и бактериофобией, она обычно весь день проводила в постели, неспособная выполнять никакую домашнюю работу. Было бы неточно сказать, что она вполне освободилась от всех симптомов, потому что иногда ее навязчивая идея снова приходила ей в голову. Однако она уже была способна подшучивать над этой идеей, или, по существу, самой применять парадоксальное намерение.

Парадоксальное намерение можно применять также в случаях расстройства сна. Страх перед бессоницей приводит к слишком сильному стремлению заснуть, которое, в свою очередь, не дает пациенту заснуть спокойно. Чтобы побороть этот страх, я обычно советую пациенту стремиться к обратному - не спать как можно дольше. Другими словами, сверхстарание заснуть, возникающее из тревожного ожидания бессоницы, надо подменить парадоксальным намерением не засыпать, которое быстро наведет сон.

Парадоксальное намерение - не панацея. Но это - полезный инструмент при лечении обсессивно-компульсивных неврозов и состояния фобий, особенно когда в основе лежит тревожное ожидание. Более того, это быстродействующее терапевтическое средство. Но не следует думать, что такая кратковременная терапия обязательно дает столь же кратковременный лечебный эффект. Одна из "наиболее общепринятых иллюзий фрейдовской ортодоксии", если цитировать покойного Эмиля Гутхайля, "состоит в том, что длительность результатов пропорциональна продолжительности лечения". В моей картотеке, например, есть отчет о пациенте, к которому парадоксальное стремление было применено более двадцать лет назад; но терапевтический эффект, тем не менее, оказался стойким.

Один из самых замечательных свойств парадоксального намерения в том, что его эффект не зависит от этиологической основы (происхождения) случая, к которому оно применяется. Это еще одно подтверждение высказывания Эдит Вайскопф-Джоэлсон: "Хотя традиционная психотерапия настаивает, что терапевтические меры должны быть основаны на выявлении этиологии, вполне возможно и такое: одни факторы в раннем детстве могут стать причиной невроза, и совершенно другие факторы могут освободить от невроза во взрослом возрасте."

Что же касается действительных причин неврозов, то кроме конституциональных элементов, соматических (телесных) или психических по природе, и такие механизмы обратной связи, как тревожное ожидание, могут быть главным патогенным фактором. Данный симптом вызывает фобию, фобия возбуждает симптом, и симптом, в свою очередь, усиливает фобию. Такую цепочку событий можно наблюдать в обсессивно-компульсивных случаях, когда

пациент борется с преследующими его мыслями. Часто масла в огонь подливает страх пациента перед (как он полагает, неизбежным) психозом. (Пациенту неизвестен эмпирический факт, что невроз иммунизирует его к формальному психозу, а не грозит им!) Все это усиливает волнение пациента, так как давление вызывает обратное давление. Симптом опять усиливается! С другой стороны, как только пациент перестает бороться со своими навязчивыми мыслями, а старается их просто высмеивать, относясь к ним с иронией, т.е. применяя парадоксальное стремление, - порочный круг разрывается, симптом слабеет и в конце концов атрофируется. В тех удачных обстоятельствах, когда отсутствует экзистенциальный вакуум, порождающий симптом, пациенту удается не только высмеять свой невротический страх, но в конце концов полностью его игнорировать.

Как мы видим, тревожному стремлению необходимо найти противодействие в виде парадоксального стремления; излишнему стремлению, как и излишним сомнениям, следует найти противодействие в снятии рефлекса; однако последнее в конечном счете невозможно, если пациент не переориентирован на поиски его особого призвания и миссии в жизни. Сосредоточенность на себе, будь это жалость или презрение, не может разорвать порочный круг невроза; чтобы исцелиться, надо выйти за пределы самого себя!

Коллективный невроз

Каждому возрасту присущ свой коллективный невроз, и каждому возрасту необходима своя психотерапия, чтобы с ним справиться. Экзистенциальный вакуум, который является массовым неврозом нашего времени, может быть описан как частная и личная форма нигилизма; одно из определений нигилизма - утверждение, что бытие не имеет смысла. Что же касается психотерапии, то она никогда не сможет справиться с таким состоянием дел в массовом масштабе, если не освободится от влияния современных направлений философии нигилизма; иначе она будет просто еще одним симптомом массового невроза, а не позитивным лечением. Психотерапия, отражающая нигилистическую философию, будет, пусть и непреднамеренно, внушать пациенту карикатуру как подмену подлинного человеческого образа.

Прежде всего, существует опасность, связанная с учением о человеке как о простом продукте биологических, психологических и социальных условий, или продукте наследственности и среды. Такой взгляд на человека способствует невротическому убеждению, что его можно убедить в чем угодно, что он является заложником и жертвой внешних влияний или внутренних обстоятельств. Этот невротический фатализм поощряется и укрепляется такой психотерапией, которая отрицает свободу воли человека.

Разумеется, бытие человека конечно и его свобода ограничена. Он не свободен от условий, но он обладает свободой занять ту или иную позицию по отношению к этим условиям. Я однажды высказал это так: "Как профессор в двух областях - неврологии и психиатрии - я полностью сознаю пределы, в которых человек подвластен биологическим, психологическим и социальным условиям. Но кроме того, что я профессор в двух областях медицины, я еще и человек, выживший в четырех лагерях - концентрационных лагерях - и в этом качестве могу свидетельствовать, в какой невероятной степени человек способен не поддаваться и мужественно противостоять даже самым худшим из мыслимых условий."

Критика пан-детерминизма

Психоанализ часто обвиняют в так называемом пансексуализме. Что касается меня, то я сомневаюсь, что такой подход к человеческой психике вообще законен. Однако я считаю куда более ошибочным и опасным другой подход - то, что я называю "пан-детерминизмом". Под этим я понимаю взгляд на человека, пренебрегающий его способностью противостоять каким бы то ни было условиям. Человек в своих действиях отнюдь не полностью обусловлен и ограничен; он сам решает, подчиниться условиям до конца или противостоять им. Другими словами, человек в конечном счете независим. Он не просто существует, но всегда решает, каким будет его существование, каким он станет сам в ближайшую минуту.

Таким же образом, каждое человеческое существо обладает свободой меняться в любой момент. Мы можем предсказать его будущее только в широких общих рамках статистики, относящейся к целой группе; однако индивидуальная личность остается по существу непредсказуемой. Основа любых предсказаний представлена биологическими, психологическими и социальными условиями. И все же одна из основных черт человеческого существования - способность подняться выше этих условий, перерасти их. Человек способен изменить мир к лучшему, насколько это возможно, и изменить себя к лучшему, если это необходимо.

Я приведу случай д-ра И. Это единственный из всех встреченных мною в жизни людей, которого я смею назвать Мефистофелем, дьяволом в человеческом образе. Тогда его называли "массовый убийца из Штейнхофа" (большая психиатрическая больница в Вене). Когда нацисты начали проводить в жизнь свою программу эвтаназии "неполноценных" людей, он держал в руках все нити организации истребления душевнобольных, и фанатически стремился к тому, чтобы ни один из них не избежал газовой камеры. Вернувшись в Вену после войны, я спросил, что произошло с д-ром И. Мне сказали: "Русские заключили его в изолированную камеру в Штейнхофе. Однако на следующий день дверь камеры оказалась открытой, и никто его больше не видел". Я был уверен, что он, как и многие другие, при помощи своих друзей сбежал в Южную Америку. Однако недавно я консультировал бывшего австрийского дипломата, который много лет провел в заключении за железным занавесом, сначала в Сибири, а потом на знаменитой Лубянке в Москве. Во время неврологического обследования он внезапно спросил меня, не случалось ли мне знать д-ра И. После моего утвердительного ответа он продолжал: "Я познакомился с ним на Лубянке. Он умер там, в возрасте 40 лет, от рака мочевого пузыря. Однако до этого он проявил себя как лучший товарищ, какого только можно вообразить. Он умел утешить каждого. Он жил на высочайшем моральном уровне. Он был лучшим другом, который был у меня за все мои долгие годы в тюрьме."

Вот вам история д-ра И., "Убийцы из Штейнхофа". Как мы можем осмелиться предсказать поведение человека? Мы можем предсказать движения машины, автомата; более того, мы даже можем попытаться предсказать движения или "динамику" человеческой психики (psyche). Но человек - это больше чем psyche.

Однако свобода - это еще не самоцель, а только половина дела. Свобода - всего лишь негативная (обратная) сторона цельного понятия, позитивной (лицевой) стороной которого является ответственность. Действительная свобода может вырождаться в простой произвол, если она не ограничена ответственностью. Вот почему я рекомендую, чтобы статуя Свободы на восточном берегу Америки была дополнена статуей Ответственности на западном берегу.

Кредо психиатра

Никакие мыслимые обстоятельства не могут настолько ограничить человека, чтобы лишить его свободы на сто процентов. Поэтому хоть какая-то свобода, как бы она ни была ограничена, остается у человека в случаях невроза или даже психоза. В самом деле, сокровенная сердцевина личности пациента не затрагивается даже тяжелыми психозами.

Неизлечимый душевнобольной, пусть он перестал быть полезным членом общества, все еще может сохранять достоинство человеческого существа. Таково мое кредо психиатра. Иначе я не считал бы, что стоит посвятить свою жизнь психиатрии. Ради чего? Просто ради испорченной мозговой машины, которую невозможно починить? Если бы не убеждение, что пациент - это нечто большее, следовало бы оправдать эвтаназию.

Вернуть психиатрии гуманность

Слишком долго - полстолетия - психиатрия пыталась интерпретировать человеческий разум как механизм, и, следовательно, терапию душевных болезней часто излагала в технических терминах. Я верю, что это время позади. То, что сейчас начинает вырисовываться на горизонте - это не силуэт психологизированной медицины, а скорее гуманизированной психиатрии.

Тот врач, который все еще понимает свою роль в основном как роль техника, вынужден теперь признать, что он видит в своем пациенте не более чем машину вместо того, чтобы видеть за болезнью человеческое существо.

Человеческое существо - не просто одна из ряда вещей; вещи определяют одна другую, в то время как человек в конечном счете независим. Каким он становится - в пределах своих способностей и среды - зависит от него самого. Например, на таком испытательном полигоне, как концлагерь, мы сами видели, как некоторые из нас вели себя как свиньи, в то время как другие жили как святые. У человека есть обе возможности; какую из них он реализует, зависит от его решений, а не от внешних условий.

Наше поколение - это поколение реалистов, ибо нам стало известно, что такое на самом деле человек. В конце концов, человек - это существо, которое изобрело газовые камеры Освенцима; однако он также и то существо, которое входило в эти камеры с гордо поднятой головой, с молитвой или Шма Исраэль на устах.

Постскрипtum 1984 г.

ПОВОД ДЛЯ ТРАГИЧЕСКОГО ОПТИМИЗМА

Посвящается памяти Эдит Вайскопф-Джоэлсон, чьи пионерские исследования в логотерапии в США начались еще в 1955 г., и чей вклад в эту область неоценим.

Давайте сначала спросим себя, что следует понимать под "трагическим оптимизмом". Кратко говоря, это означает, что человек является, и остается, оптимистом, несмотря на "трагическую триаду", как это называется в логотерапии; триаду, состоящую из тех сторон существования человека, которые могут быть обозначены как (1) боль, (2) вина и (3) смерть. Эта глава посвящена вопросу: как можно сказать жизни "Да", несмотря на все это? Если поставить вопрос иначе, как может жизнь сохранить свой потенциальный смысл, несмотря на свои трагические стороны? В конце концов, "говорить "Да" жизни, несмотря на что бы то ни было", как звучит название одной из моих немецких книг, как раз предполагает, что жизнь потенциально имеет смысл при любых условиях, даже самых несчастных. И это в свою очередь предполагает, что способность человека к творчеству превращает отрицательные стороны жизни в нечто позитивное и конструктивное. Другими словами, суть в том, чтобы использовать наилучшим образом любую данную ситуацию. "Наилучшее" на латыни называется *optimum* - вот почему я говорю о трагическом оптимизме, т.е. оптимизме перед лицом трагедии и с учетом потенциала человека, который в своем максимуме позволяет (1) обратить страдание в достижение и подвиг; (2) использовать вину как случай изменить себя к лучшему; и (3) найти в преходящести (конечности) жизни стимул к ответственным поступкам.

Однако надо помнить, что оптимизмом нельзя управлять, или принудить к нему. Нельзя заставить себя быть оптимистом огульно, без разбора, вопреки всем скверным обстоятельствам, вопреки полной безнадежности. И что верно для надежды, верно и для остальных двух компонент триады, так как и вера и любовь не могут быть управляемы или получены в приказном порядке.

В глазах европейцев важной характеристикой американской культуры является императив: опять и опять приказывается и предписывается "быть счастливым". Но счастье не может быть объектом стремления, погони; оно должно быть результатом чего-то другого. Надо иметь основание "быть счастливым". Тогда счастье возникает само собой. Жизнь человека - не в погоне за счастьем, а в поисках причины для него, в том числе, и путем реализации потенциального смысла, который скрыто присутствует в текущей жизненной ситуации.

Эта необходимость основания для счастья подобна необходимости повода для другого чисто человеческого явления - смеха. Если вы хотите, чтобы кто-то рассмеялся, вы должны рассказать ему нечто смешное. Иначе невозможно вызвать настоящий смех - скажем, убеждая или принуждая. Это все равно, что приказывать человеку, сидящему перед объективом фотоаппарата,⁴ сказать "cheese": на фотографии выйдет лицо, застывшее в искусственной улыбке.

В логотерапии такое поведение называется "чрезмерное стремление". Оно часто вызывает сексуальные неврозы, будь это фригидность или импотенция. Чем

больше пациент, вместо того чтоб самозабвенно отдаваться, прямо стремится к оргазму, т.е. сексуальному удовольствию, тем больше его погоня за сексуальным наслаждением разрушает это наслаждение. На самом деле то, что называется "принципом удовольствия" - это скорее порча удовольствия.

Если же человек успешно находит смысл своей жизни, это не только приносит ему счастье, но и способность справляться со страданием. Но что происходит, если кому-то не удастся найти этот смысл? Последствия могут быть роковыми. Вспомним, например, что иногда происходит в экстремальных ситуациях, скажем, в лагерях военнопленных и концлагерях. Как мне рассказывали американские солдаты, такое поведение выражалось в полном отказе от надежды. В концлагере подобное происходило так: однажды утром человек отказывался вставать и идти на работу и оставался лежать в бараке, на соломе, мокрой от нечистот. Ничего - ни предупреждения, ни угрозы, ни побои - не могло вывести его из этого состояния. А потом обычно происходило вот что: он извлекал глубоко запрятанную в кармане сигарету и закуривал. В этот момент мы понимали, что в ближайшие 48 часов этот человек умрет. Ориентация на смысл пропала, и на смену пришло стремление к немедленному удовольствию. (Заклученные обычно выменивали "премиальные" сигареты на жизненно необходимую еду.)

Разве это не напоминает то, что встречается нам теперь изо дня в день? Я говорю о тех молодых людях, которые, во всемирном масштабе, называют себя "поколением без будущего". Разумеется, они хватаются не за сигарету, а за наркотики.

На самом деле наркотики - лишь одно следствие более общего массового явления, а именно - ощущения бессмысленности из-за крушения наших экзистенциальных потребностей, что в свою очередь стало универсальным явлением в нашем индустриальном обществе. Сегодня не только логотерапевты заявляют, что чувство бессмысленности играет все сильнее растущую роль в этиологии неврозов. Как утверждает Ирвин Д. Ялом из Стэнфорда: "Из сорока пациентов, подряд обратившихся за лечением в нашу психиатрическую амбулаторию ... двенадцать имеют серьезные проблемы, касающиеся смысла жизни (судя по их собственной оценке, оценке врачей или независимых экспертов). За тысячи миль к востоку от Пало-Альто ситуация отличается лишь на 1%: по самой последней статистике, в Вене 29% населения жалуются, что из их жизни исчез смысл.

Что же касается причины этого явления, то можно сказать, хотя и в сильно упрощенном виде, что у людей хватает средств на жизнь, но нет ничего, для чего стоило бы жить. Конечно, и средства есть не у всех. В частности, я думаю о массе людей, которые сейчас являются безработными. Пятьдесят лет тому назад я опубликовал исследование, посвященное особому виду депрессии, которую я диагностировал у молодых пациентов, назвав ее "неврозом безработицы". И я смог показать, что этот невроз на деле происходит из двойного ложного отождествления: "быть безработным" приравнивалось к "быть бесполезным", а последнее - к отсутствию смысла жизни. В результате всякий раз, когда мне удавалось убедить пациента поработать добровольцем в молодежных организациях, в публичных библиотеках, на занятиях для малограмотных взрослых и т.д. - другими словами, как только он заполнял свое время какой-нибудь неоплачиваемой, но осмысленной деятельностью, - его депрессия исчезала, хотя благосостояние не улучшалось, и он попрежнему голодал. Истина в том, что человек не живет только ради благосостояния.

Наряду с неврозом безработицы, который вызывается социоэкономической ситуацией отдельного человека, существуют другие виды депрессий, которые

можно проследить до тех психодинамических или биохимических условий, которые их вызывают. Соответственно предписывается конкретная психотерапия и фармакотерапия. Однако что касается чувства бессмысленности жизни, нельзя упускать из виду, что по существу это чувство не патология, не симптом невроза, а скорее, я бы сказал, доказательство человечности пациента. Но хотя это чувство не вызвано чем-то патологическим, оно само может вызвать патологическую реакцию; другими словами, оно потенциально патогенно. Посмотрим только на массовый невротический синдром, столь распространенный в молодом поколении; есть множество эмпирических данных, что три грани этого синдрома - депрессия, агрессия, наркомания - обусловлены тем, что в логотерапии называется "экзистенциальным вакуумом" - чувством пустоты и бессмысленности жизни.

Конечно же, не каждый случай депрессии вызван чувством бессмысленности, и самоубийства - к которым иногда приводят депрессии - не всегда являются следствием экзистенциального вакуума. Но даже если не каждый случай самоубийства был совершен из-за чувства бессмысленности, очень может быть, что импульс человека лишить себя жизни был бы преодолен, если бы он осознал какой-то смысл и цель, ради которых стоит жить.

Если, таким образом, сильная ориентация на смысл играет решающую роль в предупреждении самоубийства, что можно сказать о прямом вмешательстве в случаи, где есть риск самоубийства? Молодым врачом я провел четыре года в самой большой государственной больнице Австрии, работая в отделении, где содержались пациенты в состоянии тяжелой депрессии; большинство из них поступило после попытки самоубийства. Я однажды подсчитал, что должен был за эти четыре года обследовать 12 тысяч пациентов. У меня накопился целый склад опыта, из которого я черпаю до сих пор, когда сталкиваюсь с человеком, склонным к самоубийству. Я рассказываю ему, что эти пациенты многократно мне говорили, как они счастливы, что их попытка самоубийства не удалась; через недели, месяцы, годы оказывалось, что у их проблем было решение, и был ответ на вопрос о смысле их жизни. "Если все так хорошо оборачивается даже один раз на тысячу случаев - я продолжал объяснять - как можно гарантировать, что в вашем случае это однажды не произойдет, раньше или позже? Но прежде всего вы должны жить, чтобы увидеть тот день, когда это может произойти; вы должны жить, чтобы увидеть рассвет этого дня, и ответственность за ваше выживание не должна покидать вас."

В связи со второй гранью массового невротического синдрома - агрессией - я расскажу об эксперименте, проведенном Кэролайн Вуд Шериф. Она сначала специально разожгла вражду между двумя группами бойскаутов; эта агрессия утихла только тогда, когда подростки занялись общей целью - совместными попытками вытащить завязшую в грязи повозку с продуктами для лагеря. Они не только приняли этот вызов, но и объединились ради выполнения общего дела.

Что же касается третьей грани, наркомании, я вспоминаю о данных, полученных Аннемари фон Форстмайер: по данным тестов и статистики, 90% алкоголиков, которых она обследовала, страдали глубоким чувством бессмысленности жизни. Из наркоманов, исследованных Стэнли Криппнер, все 100% считали, что "все бессмысленно".

А сейчас обратимся к вопросу о самом смысле. Сначала я хочу четко сказать, что логотерапевта в первую очередь интересует потенциальный смысл, который в дремлющем состоянии скрыт в каждой из отдельных ситуаций, с которыми человек встречается в своей жизни. Поэтому я не буду здесь задерживаться на чьей-то жизни в целом, хотя я не отрицаю, что такой широкий смысл существует. Для сравнения рассмотрим кинофильм: он состоит из тысяч и

тысяч отдельных изображений, и каждое из них несет какой-то смысл, и все же смысл всего фильма нельзя увидеть до того, как будет показана его последняя часть. Однако мы не сможем понять весь фильм, если не поймем каждую его компоненту, каждое из отдельных изображений. Разве нельзя сказать то же самое о человеческой жизни? Разве ее окончательный смысл не раскрывается только в конце, на пороге смерти? И разве этот окончательный смысл не зависит от того, был или не был реализован потенциальный смысл каждой отдельной ситуации в наиболее полном соответствии со способностями и верованиями человека?

Не забудем, что смысл и его восприятие, с точки зрения логотерапии, является совершенно земным, а не витает в облаках и не скрывается в башне из слоновой кости. Я бы расположил познание смысла - персонального смысла в конкретной ситуации - на полдороге между переживанием "ага!" по концепции Карла Бюхлера и гештальт-восприятием, скажем, по теории Макса Вертхаймера. Восприятие смысла отличается от классической гештальт-концепции в том, что последняя подразумевает внезапное распознавание "силуэта" на "фоне", в то время как восприятие смысла, как я его вижу, сводится к осознанию имеющихся возможностей на фоне реальности, или, говоря простыми словами, осознанию, что можно сделать в данной ситуации.

А как же человек может приблизиться к обнаружению смысла? Шарлотта Бюхнер сказала: "Все, что мы можем - это изучать жизнь тех людей, которые, по-видимому, нашли свои ответы на вопрос, в чем окончательный смысл человеческой жизни - по сравнению с теми, кто ответа не нашел." В дополнение к этому биографическому подходу мы можем прибегнуть и к биологическому. В понятиях логотерапии совесть - это подсказчик, который по мере необходимости указывает направление, по которому нам следует двигаться в данной жизненной ситуации. Чтобы выполнить эту задачу, совести приходится прикладывать измерительную линейку к переживаемым ситуациям, и оценивать их согласно своей системе критериев, своей иерархии ценностей. Однако эти ценности не могут быть нами восприняты на сознательном уровне - они являются просто тем, что мы есть. Они кристаллизовались в течение всей эволюции нашего вида; они заложены в нашем биологическом прошлом и укоренены в нашей биологической глубине. Конрад Лоренц имел в виду нечто подобное, когда развивал понятие биологического *a priori*, и когда мы с ним недавно обсуждали мой взгляд на биологическую основу процесса оценки, он с энтузиазмом выразил свое согласие. Во всяком случае, если существует до-рефлекторное аксиологическое понимание себя (аксиология - изучение природы этических ценностей), то оно в конечном счете заложено в нашем биологическом наследстве.

Как учит логотерапия, есть три основных дороги, по которым можно прийти к смыслу жизни. Первая - творчество, полезная работа или совершение поступка. Вторая - переживание чего-нибудь или встреча с кем-то; другими словами, смысл можно найти не только в творчестве, но и в любви. Эдит Вайскопф-Джоэлсон замечает в связи с этим: логотерапевтическая "идея, что переживание может быть таким же ценным, как достижение, полезна тем, что компенсирует общепринятое одностороннее преувеличение значимости внешнего успеха за счет ценности внутреннего мира переживаний".

Однако еще важнее третья дорога к смыслу жизни: даже беспомощная жертва безнадежной ситуации, столкнувшись с жестокой судьбой, которую нельзя изменить, может подняться над собой, вырасти за свои пределы и этим изменить себя. Она может обратить личную трагедию в триумф. Как упомянуто ранее в этой книге, Эдит Вайскопф-Джоэлсон выразила надежду, что логотерапия "может

помочь в противостоянии некоторым нездоровым тенденциям в сегодняшней культуре Соединенных Штатов, где неизлечимому страдальцу предоставляется очень мало возможностей гордиться своим страданием и считать, что оно облагораживает его, а не унижает, так что он не только несчастен, но еще и стыдится своего несчастья".

Четверть столетия я руководил неврологическим отделением больницы, и был свидетелем способности моих пациентов обращать свое тяжелое положение в человеческое достижение, в подвиг. Кроме практического опыта, существуют эмпирические данные о том, что можно найти смысл в страдании. Исследователи Йельского университета "были поражены тем, что немало бывших военнопленных периода вьетнамской войны ясно заявляли: хотя их заключение в лагере было чрезвычайно трудно вынести - мучения, болезни, скверное питание, одиночное заключение - несмотря на все это, они извлекли пользу из своего опыта пленения, который оказался для них еще и развивающим опытом".

Но самые сильные аргументы в пользу "трагического оптимизма" - те, которые на латыни называются *argumenta ad hominem*. Яркий пример - история Джерри Лонга, живое свидетельство "дерзкой силы человеческого духа", как это называется в логотерапии. Цитирую по *Texarkana Gazette*: "У Джерри Лонга все тело ниже шеи было парализовано три года назад в результате несчастного случая при нырянии. Тогда ему было 17 лет. Сейчас Лонг может пользоваться клавиатурой при помощи палочки, которую держит во рту. Он "посещает" два курса в *Community College* с помощью специального телефона. Интерком позволяет Лонгу и слушать, и участвовать в обсуждениях. Он также заполняет свое время чтением, смотрит телевизор и пишет." Вот что он написал мне в письме: "Я вижу свою жизнь полной смысла и цели. Установка, которую я принял в тот злосчастный день, стала моим жизненным кредо: я сломал шею, но не сломился. Сейчас я занимаюсь на первом курсе психологического колледжа. Я верю, что мое увечье только укрепит мою способность помочь другим. Я знаю, что без страдания развитие, которого я достиг, было бы невозможным."

Значит ли это, что страдание незаменимо для открытия смысла? Ни в коем случае. Я только утверждаю, что смысл доступен, несмотря на - и мало того, через - страдание, но лишь если страдание действительно неизбежно, как замечено во второй части этой книги. Если его возможно устранить, то смысл будет как раз в устранении его причины, потому что ненужное страдание - это мазохизм, а не героизм. Если, с другой стороны, нельзя изменить ситуацию, причиняющую страдание, то можно выбрать свое отношение к нему. Лонг не выбирал перелом шейных позвонков, но он решил не дать себе сломаться под выпавшим ему ударом судьбы.

Итак, в первую очередь надо стремиться изменить ситуацию, вызывающую страдание. Но еще важнее - уметь переносить страдание, уж если оно неизбежно. Существуют эмпирические данные, что "простые люди" думают так же. Опросы общественного мнения в Австрии показали, что наибольшее уважение у большинства опрошенных вызывают не великие деятели искусства и науки, не выдающиеся государственные деятели и спортивные рекордсмены, а те, кто справляется с выпавшим им на долю тяжким жребием, высоко подняв голову.

Обратившись ко второму аспекту трагической триады, к вине, я хотел бы отступить от теологического понятия, которое всегда меня занимало. Я говорю о том, что называется *mysterium iniquitatis*, что означает - преступление при окончательном анализе остается необъясненным в той степени, в которой нельзя полностью проследить его истоки в биологических, психологических и/или социологических факторах. Но ведь полное объяснение чьего-либо преступления

было бы оправданием вины этого человека, который таким образом рассматривается не как свободная и ответственная за свои поступки личность, а как машина, подлежащая починке. Даже сами преступники питают отвращение к таким объяснениям и предпочитают брать на себя ответственность за свои поступки. Я получил письмо от осужденного, отбывающего срок в тюрьме штата Иллинойс, в котором он сожалеет, что "у преступника никогда нет случая самому объяснить себя. Ему предлагают множество оправданий, из которых он может выбирать. Обвиняется общество, и во многих случаях вина возлагается на жертву." Более того, когда я обращался к заключенным в тюрьме Сан-Квентин, я сказал им: "Вы такие же человеческие существа, как и я, и как таковые вы были свободны совершить преступление, стать виновными (это была ваша свободная воля). Однако сейчас вы ответственны за то, чтобы превозмочь вину, поднявшись над ней. Вырасти за свои пределы, измениться к лучшему." Они как будто поняли. Еще я получил записку от бывшего заключенного, который организовал группу логотерапии из бывших уголовников. "Нас уже 27, и новички снова угодили бы за решетку, если бы не сила убеждения тех, кто был в группе с самого начала. Только один из нас снова попал в тюрьму, но и он уже на свободе."

Что же касается понятия коллективной вины, я лично думаю, что совершенно неоправданно делать одного человека ответственным за поведение другого, или целого коллектива. После Второй мировой войны я всегда возражал против понятия коллективной вины. Однако иногда требовалось немало ухищрений, чтобы развеять предубеждения. Одна американка как-то упрекнула меня: "Как вы можете до сих пор писать книги на немецком языке, языке Адольфа Гитлера?" В ответ я спросил у нее, есть ли у нее на кухне ножи, и когда она ответила, что да, есть, я изобразил ужас и возмущение, воскликнув: "Как вы можете до сих пор пользоваться ножами - после того, как множество убийц пользовалось ими, чтоб закалывать и убивать свои жертвы?" И она перестала возражать против того, чтоб я писал книги на немецком языке.

Третий аспект трагической триады касается смерти. Но он точно так же касается жизни, потому что все время умирает очередной маленький момент, из которого состоит жизнь, и он больше никогда не возвратится. И разве не его преходящесть является напоминанием, которое призывает нас использовать наилучшим возможным образом каждый момент нашей жизни? Конечно, так и есть, и отсюда мой императив: Живите так, как будто вы живете во второй раз, и поступили в первый раз так неверно, как собираетесь поступить сейчас.

Наши способности поступить правильно, возможность осмысленных действий, зависят от необратимости жизни. Но благодаря той же необратимости эти возможности дано воплотить. Ведь как только мы использовали открывшуюся возможность и реализовали потенциальный смысл, мы сделали это раз и навсегда. Мы отправили это свершение в прошлое, где оно будет находиться в целостности и сохранности. В прошлом ничего не теряется безвозвратно, а наоборот, хранится как сокровище. Разумеется, люди склонны видеть только сжатое поле преходящего и забывают о существовании полных житниц прошлого, в которое они принесли урожай своей жизни: совершенные ими деяния, пережитую любовь, и наконец, страдания, через которые они прошли мужественно и достойно.

Уже из этого видно, что нет причин испытывать жалость к старикам. Скорее, молодые должны им завидовать. Это правда, что у стариков нет возможностей в будущем; но у них есть нечто большее. Вместо возможностей в будущем у них есть реальности в прошлом - возможности, которыми они воспользовались, смысл, который они исполнили, ценности, которые они

реализовали - и никто и ничто не может отобрать эти сокровища у прошлого.

В свете того, что возможно найти смысл в страдании, смысл жизни существует при любых условиях, по крайней мере потенциально. Рядом с этим безусловным смыслом жизни упомянем безусловную ценность каждого человека. Именно эта безусловная ценность гарантирует неотъемлемость его человеческого достоинства. Так же, как и у жизни остается потенциальный смысл в любых условиях, даже в самых ужасных, так и ценность человека остается с ним при любых условиях, потому что она основана на ценностях, созданных им прошлым, и не зависит от "полезности" или "бесполезности", которую он представляет в настоящем.

Если говорить точнее, "полезность" человека обычно определяется в терминах его функционирования на благо общества. Но сегодняшнему обществу свойственно ориентироваться на успех, и оно обожает людей, которые преуспевают и счастливы, и особенно - молодых и сильных. Оно фактически не признает ценность всех остальных, игнорируя таким образом важнейшую разницу между ценностью в смысле достоинства и "общественной полезностью". Если кто-то верит, что ценность человека основана только на его полезности в настоящем времени, тогда только его логическая непоследовательность мешает ему призывать к эвтаназии по гитлеровской программе, так сказать, к "милосердному" убийству тех, кто потерял свою "полезность" для общества, будь это по старости, неизлечимой болезни, ослабления умственных способностей или из-за любых других видов инвалидности.

Определение достоинства человека просто по его "полезности" обязано путанице понятий, вытекающей из нигилизма, охватившего многие университетские кампусы и кабинеты психоаналитиков. Такая идеология может быть внушена даже в обстановке обучения психоанализу. Нигилизм не утверждает, что ничего нет, он утверждает, что ни в чем нет смысла. И Джордж А. Сарджент был прав, когда объявил эту концепцию "ученой бессмысленностью". Он сам вспоминает терапевта, который сказал ему: "Джордж, вы должны понимать, что весь мир - это шутка. Справедливости не существует, все происходит случайно. Только когда вы это поймете, то согласитесь, что глупо принимать всерьез самого себя. Во вселенной нет великой цели. Она просто существует. Совершенно неважно, как именно вы решите поступать в том или ином случае."

Не стоит обобщать эту критику. В принципе обучение практикой незаменимо, но терапевты должны ставить себе задачу привить стажеру иммунитет к нигилизму, а не заражать собственным цинизмом, которым защищаются от своего собственного нигилизма.

Логотерапевты могут и приспособиться к некоторым учебным и лицензионным требованиям, которые выдвигают другие школы психотерапии. Можно быть с волками, если это необходимо, но при этом - я настаиваю - следует быть овцой в волчьей шкуре. Не следует поступаться основной концепцией человека и принципами жизненной философии, свойственным логотерапии. Такую лояльность поддерживать нетрудно; действительно, как однажды указала Елизабет С. Лукас, "за всю историю психотерапии не было столь далекой от догматизма школы, как логотерапия". На Первом всемирном конгрессе по логотерапии я убеждал участников не только в необходимости регуманизации психотерапии, но и в том, что я назвал необходимостью "дегуруфицировать логотерапию". Я заинтересован не в выращивании попугаев, которые просто пересказывают "голос хозяина", а в том, чтоб передать факел "независимым и изобретательным, новаторским и творческим умам".

Зигмунд Фрейд сказал однажды: "Пусть пусть кто-нибудь попробует

заставить голодать группу самых разных людей. С ростом повелительного чувства голода все их индивидуальные различия смажутся, и они совершенно одинаково будут выражать неутоленную потребность в еде." Слава Богу, Фрейду не пришлось знакомиться с концлагерями изнутри. Его пациенты лежали на бархатной кушетке в викторианском стиле, а не на вонючей соломе Освенцима. Там "индивидуальные различия" не смазывались; наоборот, разница между людьми выступила еще ярче: люди сбросили маски - как свиньи, так и святые. Незачем сомневаться, можно ли употреблять слово "святые"; вспомним об отце Максимилиане Кольбе, умиравшем от истощения и в конце концов убитом инъекцией карболовой кислоты; в 1983 г. он был канонизирован. (В другом месте Франкл рассказал, что Кольб добровольно заменил другого человека, отца семейства, который должен был быть убит вместе с другими обреченными на смерть заложниками. -М.М.)

Вы, может быть, захотите упрекнуть меня, что я привожу примеры, которые являются исключениями из правил. "Sed omnia praestara tam difficilia quam rara sunt" (но все великое настолько же трудно выполнить, насколько редко оно встречается). Это последняя фраза из Этики Спинозы. Вы можете, конечно, спросить, следует ли вообще ссылаться на святых. Разве не было бы достаточно сослаться просто на порядочных людей? Это правда, что они составляют меньшинство. Более того, они всегда будут оставаться в меньшинстве. Но как раз в этом я вижу призыв присоединиться к этому меньшинству. Мир находится в скверном состоянии, но все может стать еще хуже, если каждый из нас не сделает все, что сможет.

Так что будем бдительны в двойном смысле:

Со времени Освенцима мы знаем, на что человек способен.

И со времени Хиросимы мы знаем, что поставлено на карту.

Источник: Victor E. Frankl. Man's Search for Meaning. Издание 1985 года.
Издательство: Washington Square Press. Перевод Маргариты Маркус,
mmarkus(a)bgu.ac.il
